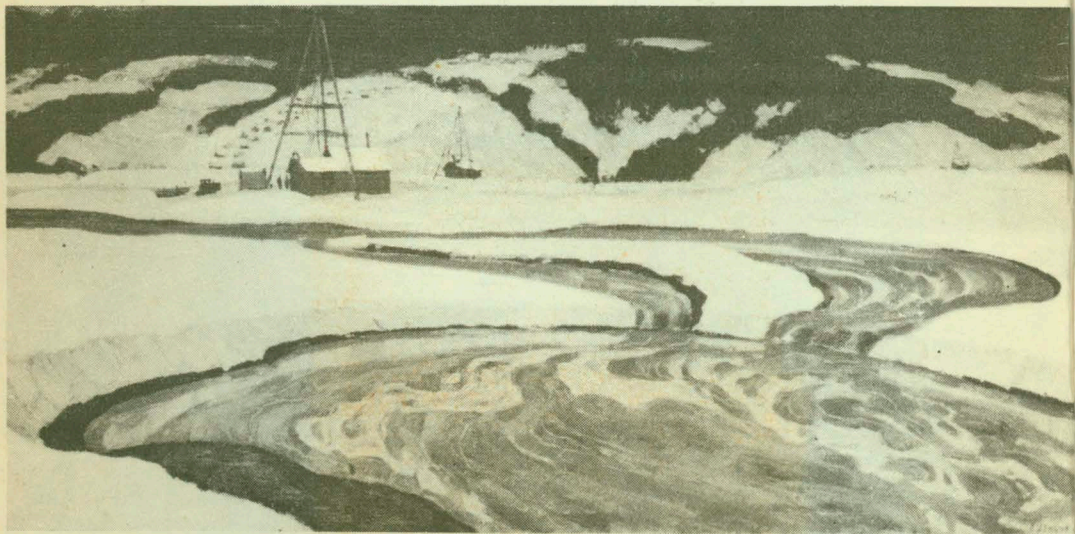


0-38

2·1976

**ОГНИ
КУЗБАССА**





Н. Шемаров «Буровые вышки в Кузбассе»



ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬ-
МАНАХ, ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛА-
СТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСА-
ТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 28-й

№ 2(51)



В Н О М Е Р Е

Наш современник

Владимир Кузнецов. Директор 3

С поэтического семинара

Игорь Киселев. Новые имена, новые надежды 16
Алексей Томилов. «Мне опять побывать довелось...», «От-
дохну под осиной...» 16
Николай Колмогоров. Здравствуй! Полярный день. «В
родных местах, где все мои пути...» 18
Николай Николаевский. «Приставки тяжесть придают
словам...» Кое-что о религии. 20
Валентина Пьянкова. О черновиках. Свадьба. Этюд . . 33
Михаил Орлов. К недавним событиям в Чили. «О четы-
рех ногах собака...» 34
Олег Философов. Дочь. «О, детство!..» 59
Александр Раевский. Доярки. Детство. 60
Леонид Сербин. Ожидание. «Еще не все подведены ито-
ги...» 61

КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1976

Кемеровская областная
научная библиотека
Краеведческий фонд
№ 397887

Рассказы

Владимир Куропатов. Трошковы	21
Екатерина Дубро. Второе начало	35
Людмила Яковлева. Сказка, не кончайся!	62

Прочитайте вашим детям

Александр Береснев. Верхолаз. Остались без обеда. Неудача	75
--	----

Наши друзья — nogpaдцы

Николай Янченков. И в бою — вместе!	76
---	----

Искусство

М. Кушникова. Тихая песнь Кузнецкой земли	87
---	----

Слово — критике

Инна Тимошенко. «Чтоб вместе с жизнью шла строка...» (Гражданские мотивы в творчестве поэтов Кузбасса)	92
Людмила Глебова. Геннадий Емельянов и его книги	99

Веселая минутка

А. Бродский. К вопросу об акселерации	104
---	-----

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. БАЯНОВ, А. Н. ВОЛОШИН,
Г. А. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. В. МАХАЛОВ, О. П. ПАВЛОВСКИЙ
(отв. секретарь), З. А. ЧИГАРЕВА, Г. Е. ЮРОВ

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский про-
спект, 94. Тел. 6-85-14

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Л. В. Глебова, художественный редак-
тор Д. М. Мурсалимов, технический редактор Г. В. Адо-
ва, корректор В. А. Лузина

Сдано в набор 25.II.1976 г. Подписано к печати 6.V.1976 г.
Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 7,61.
Уч.-изд. л. 8,41. ОП00016. Зак. 1896. Тираж 5000. Цена 37 коп.
Кемеровское книжное издательство. Кемерово, 59, Ногpaд-
ская 5. Кемеровский полиграфкомбинат. Кемерово, 59, Ногpaд-
градская, 5

0732—30
145М(03)—76 25—76

Владимир Кузнецов

ДИРЕКТОР

От деловых бумаг директора оторвал телефонный звонок.

— Все в сборе. Едем?

Директор узнал голос председателя шахткома и вспомнил, что именно сегодня с комиссией комитета профсоюза он обещал посетить квартиру рабочего К-ва — уж больно много в последнее время говорили о нем на шахте: пьет, терроризирует семью, не заботится о детях...

— Обязательно еду, — мягким голосом ответил в трубку директор и поднялся из-за стола.

В автобусе, пока петляли по узким улицам рабочего поселка, о К-ве он тоже наслышался всякого. Схватывал, правда, обрывки фраз: «Вчера вновь прогулял... Пьет, как сапожник... В три шеи его, чтобы не позорил...» И вспомнил самого К-ва — здорового, сильного мужика, отличного проходчика, на котором — он это хорошо знал — в забое вся смена держится. «Небось дрязга какая семейная вышла, вот и сорвался мужик, — думал директор шахты. — А у нас пошла писать губерния: в партком, в шахтком... Из мухи слона готовы раздуть».

Но вот и дом К-ва. Аккуратный особняк, обнесенный свежевыбеленным штакетником. От калитки к крыльцу — дорожка из кирпичиков; это значит, чтоб в непогоду грязь в дом не нести. Салатного цвета ставни — ну словно молодые листочки на весенней березке...

Дверь в дом была открытой. Комиссия миновала подслеповатые сенцы и сгрудилась у порога большой комнаты. Переступить этот порог никто не решался.

— Ту-у-да попали? — заикаясь, спросил кто-то.

— Туда, — ответил председатель шахткома. И для вескости добавил: — Больше некуда.

...Просторная, квадратов на тридцать, комната. Посредине ее круглый, обшарпанный стол на четырех ножках. У левой стенки, напротив окон, — старинная двуспальная кровать с панцирной сеткой; на кровати, наспех заправленной красным стеганым одеялом, две девочки — лет эдак восьми и четырех. Младшая — на коленях у старшей; сидят, книжку с картинками листают... Ножонки у обеих грязные, платьица помятые. На личике старшей — растерянность и недоумение: боль-

шие взрослые дяди пришли, да как много их сразу. И все такие аккуратные. И не «выпимши» вроде...

В дальнем, правом углу комнаты — сваленные в кучу несколько ведер картошки; видать, с поля вот-вот привезли хозяева — клубни в жирной, черной земле.

И еще одно живое существо в донельзя пустой комнате — девочка лет пяти. Она сидит на полу рядом с кучей картофеля и ест. В мертвой тишине слышно равномерное похрустывание. Мордашка ребенка перемазана жирной грязью, с губ на подбородок стекают ручейки свежего картофельного сока, оставляя за собой тонкие белые бороздки... Ей-то, кажется, и дела никакого нет до пришельцев — так занята она.

— Отец-то где?

— Ушел, — отвечает старшая и встает с кровати. Малышка, оставшись одна, начинает хныкать.

— А мать?

— Тоже ушла.

— Скоро придут-то?

— Не-е, — тянет старшая, — мы уже спать будем.

— А дай конфетку, — просит у всех сразу та, что сидит у картофельной кучи.

— Вы хоть ели что-нибудь сегодня?

Старшая, капризно сложив губки, отрицательно мотает головой.

— Хлеб-то хоть есть у вас?

— Да нет, — с каким-то вызовом вновь отвечает она и опускает глаза. Малышка, что сидит на кровати, уже не хныкает, а пускается в рев, за что тут же получает от сестры шлепок.

— Накормить бы их, во-первых, надо, — предлагает кто-то из членов комиссии.

— Сейчас сообразим, — поддерживает другой.

Директор подходит к окошку, упирается ладонями в подоконник и смотрит на аккуратно выложенную из красного кирпича дорожку, что ведет от крыльца дома к калитке, на свежевыбеленный штакетник огорады. Смотрит и видит все это словно в тумане — слезы застилают глаза.

...Всю обратную дорогу в автобусе царит молчание. Похоже, что каждый боится произнести первое слово.

Не выдерживает председатель шахткома.

— Все ясно, — говорит он. — Сами убедились. Больше К-ва на шахте держать нечего. К чертовой матери... Бедные пацанята, что с ними-то будет...

— Нет, так не пойдет! — голос директора звучит спокойно и твердо.

— Это почему же?

— Да потому, кроме как на шахте, К-ов нигде больше не зарабатывает. А ему из нищеты вылезать надо. Сам видел.

— И что же?

— А то же: дам ему самую хлебную работу.

— Больше пить будет — и только! — не унимается председатель шахткома.

— А вот это уже забота каждого из нас. Попробуем?

Жалость к человеку или вера в человека звучала в словах директора? Поди разберись сразу... И то, и другое, наверно, — ситуация-то уж больно из ряда вон выходящая.

В этой ситуации голос за почти пропащего человека первым подал директор шахты «Манейха» Николай Георгиевич Кочетков.

...Помню выюжный февральский вечер 1969 года. Захлестывают темные окна снежные вихри, шастает в полуоткрытой форточке гуляка-ветер. В редакционных коридорах — тишина. Последний раз просматриваю пахнущие типографской краской сверстанные и выправленные корректурой полосы завтрашней газеты. Все вроде бы на месте, шеф должен быть доволен. Можно сдавать в печать. И вдруг за спиной слышу:

— Задержи первую полосу.

Это спокойный и в то же время не терпящий возражения голос редактора. «Ну, сейчас начнется, — подумалось, — правка, переверстка, словом, газетная кутерьма». Он любил частенько ее устраивать — Николай Яковлевич Троицкий. Правда, потом всегда выяснялось: для пользы дела, а не из-за собственной блажи.

Вот и сейчас он подал мне листок бумаги с текстом.

— Это надо на первую поставить, в номер, — сказал. — Но так поставить, чтобы и заметно было, и в глаза не бросалось...

Я удивленно развел руками: что, мол, за ребус такой.

А редактор продолжил:

— Тут, понимаешь, дело такое: или мы хорошего проходчика теряем и приобретаем слабого директора шахты, или...

И, не договорив, вышел из кабинета.

Я пробежал глазами поданную редактором заметку. Вот что в ней сообщалось: «В Кузбассе и далеко за его пределами известно имя бригадира проходчиков Героя Социалистического Труда Николая Георгиевича Кочеткова.

Мастер скоростной проходки проявил незаурядный организаторский талант, завоевал заслуженный авторитет среди горняков. Трудящиеся Прокопьевска избрали Н. Г. Кочеткова депутатом Верховного Совета РСФСР. На XXIII съезде КПСС делегат от Кемеровской областной партийной организации шахтер Кочетков избран кандидатом в члены Центрального Комитета партии.

Без отрыва от производства Николай Георгиевич закончил горный техникум.

На днях коллектив бригады проходчиков шахты № 3-3 бис тепло проводил своего бригадира. Н. Г. Кочетков назначен начальником шахты «Манейха». Руководство бригадой он передал В. Полубесову.

Вот такая заметка, набранная жирным шрифтом (чтоб заметно было!) и заверстанная в низ первой полосы (чтоб в глаза не бросалась!), и появилась в газете «Кузбасс» 23 февраля 1969 года.

Рабочий стал директором.

Путь от забоя до кабинета руководителя предприятия Николай Георгиевич прошел за двадцать два года. В 1947 году начинал подземным

электрослесарем на прокопьевской шахте № 3-3 бис; потом несколько лет работал проходчиком; с 1958 по 1969 год возглавлял бригаду.

«Биография» бригады Н. Г. Кочеткова у многих еще на памяти. Она — обладатель нескольких всесоюзных рекордов скоростной проходки горных выработок; на базе бригады работали школы передового опыта; в течение длительного времени она была своеобразным эталоном для проходчиков Кузбасса и страны.

И не только в делах производственных! Небольшой рабочий коллектив, возглавляемый Н. Г. Кочетковым, являл собой образец высокой коммунистической сознательности, дисциплины, самоотдачи. В этом было главное. И цементировал этот коллектив, вел его за собой Николай Георгиевич — человек работающий, открытый и скромный, большой души и таланта человек. Теперь я бы сказал больше: смелый и ответственный в своих помыслах и поступках человек!

В том же, 1969 году, когда все мы готовились отметить 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, я интервьюировал бригадира Н. Г. Кочеткова. В числе прочих вопросов был такой: «В апреле 1920 года, обращаясь к горнорабочим в речи на I Всероссийском учредительном съезде горнорабочих, Владимир Ильич Ленин сказал: «Вы — передовой отряд». Что значит в вашем понятии, Николай Георгиевич, быть сегодня в передовом отряде?» Кочетков ответил: «Везде и во всем высоко пронести чувство своего единородства с Лениным, свято беречь и выполнять его заветы».

При всей афористичности — и потому кажущейся «общности» этого ответа — конкретные дела человека. Их можно назвать много, этих дел: больших и малых, перспективных и сиюминутных. И в каждом из этих дел на первом плане у Кочеткова — забота о рабочем человеке. И когда он был бригадиром, это воспринималось как само собой разумеющееся; стал директором — и доброту, заботу Кочеткова многие восприняли как мягкотелость, сострадание. И пошла гулять (и до сих пор еще гуляет) по большим и малым инстанциям бередящая душу фраза: «Ну, какой из него директор?..»

Ах, как часто еще у нас истинно благородное признается таковым лишь на похоронах...

Несколько лет руководил «Манеихой» Н. Г. Кочетков; в 1974 году он возглавил шахту имени Калинина. А его предшественник на этом посту — Моисей Яковлевич Кушнир стал директором одной из самых неблагополучных шахт комбината «Кузбассуголь» — «Ягуновской». Что получил «в наследство» М. Я. Кушнир? Если сказать коротко и образно — промпредприятие на последнем издыхании: долг по добыче, сотни прогульщиков, низкую производительность, высокую себестоимость... И плюс ко всему этому — смутную перспективу: готовых к выемке запасов угля оставалось всего, как говорят, ничего.

С чего же начал новый директор? С человека!

Как? Весьма тонко и изобретательно. «Ягуновка» — на окраине Кемерово. Живут горняки в прилегающих к шахте поселках, многие — в частных домах; под боком — солидные приусадебные участки. В се-

мейном бюджете участки эти как палочка-выручалочка: нет заработка на шахте — всегда огород выручит.

Огород «штамповал» больных. Не единицами — десятками. Правдами и неправдами. Как огородная кампания — так на производственном участке треть состава с больничными на руках.

Кушнир наобум выбрал десяток таких больных. Поехал по квартирам — навестить, здоровьем поинтересоваться, помощь какую нужно оказать.

Из десяти трое действительно оказались больны. Семерых же вообще не застал дома, хотя каждому из них был прописан постельный режим. «Больные» промышляли в окрестных селах и городе насчет сена, минеральной подкормки, «лечились» на территории винзавода...

Шум вселенский поднял директор? Медицинскую службу разоблачать бросился? Отнюдь. Он просто собрал вместе через день-другой «великолепную семерку» и... поместил ее в шахтовый профилакторий. Напустивал: «Будем лечиться как следует. Под наблюдением врачей. Набирайтесь, дорогие, сил и здоровья. Все расходы берет на себя шахта».

Ровно двадцать четыре часа продолжался этот «курс лечения». На вторые сутки ночевать в профилактории категорически отказались все семеро. Пришли на участок — наряд на работу получать. Есть дармовой хлеб совесть не позволила.

Своеобразно «попрекнул» их потом директор:

— Да с таким народом, как вы, нельзя шахту не вытянуть. Обязательно вытянем!

...А потом потянулись обычные рабочие будни. И самые тягостные, может быть, для директора. Дома он почти не показывался, ночевал в кабинете, на раскладушке. Питался в шахтовом буфете. В любое время суток шел к нему народ. И вопросы-то все один одного хлестче: где прикажете устраивать на лето детей (это рабочие-женщины допекали); новую программу ко Дню шахтера готовим, а посмотрели бы на наши музыкальные инструменты (это наседали участники художественной самодеятельности); на днях с шахтой «Северной» играть, а форма вся поистрепалась, засмеют нас соперники (это требовали помощи шахтовые футболисты); профилакторий в аварийном состоянии (это подставляли «нож к горлу» медики)... Ну и плюс ко всему вопросы чисто производственные, суть которых сводилась к тому, как давать уголь, гасить долг, создавать новый фронт работы.

Попробовал «загрузить» главного инженера. Тот в дыбы: это де сделать с нашим народом трудно, это — и вовсе невозможно... Словом, ни в свои силы не верил главный, ни в какие другие. Привык работать по принципу: куда кривая вывезет. Пришлось директору идти напролом, уверен был — неверующего легко сломить:

— Трудно не с нашим народом, — сказал. — С вами трудно.

Главный с шахты рассчитался. Нового Кушнир на стороне искать не стал. Смело «двинул» на повышение молодого инженера. И не ошибся в нем: — доверие — оно всегда окрыляет и силы придает.

И как ни трудно было в суматохе буден — хоть разорвись дел-то! —

не отложил в долгий ящик и те вопросы, с которыми шли к нему люди. «Прикрыл» ремонт административно-бытового комбината — и «бросил» рабочих на детский летний лагерь; изыскал средства на приобретение новых музыкальных инструментов (позднее День шахтера прошел на «Ягуновке» празднично и ярко, как никогда ранее!); выкроил время побывать на тренировке «своей» футбольной команды и вникнуть во все заботы и беды ее... А потом, как утверждают старожилы шахты, и вовсе невозможное «выбил» директор — прямую телефонную связь с городом и дневной свет на подъездных путях.

— Теперь вот у меня задача,— и Кушнир кивнул головой в сторону окон своего кабинета.

Я не сразу понял этот его жест и потому подошел к окнам.

— Тополя видите? — спросил он.

— А что? Чудесные тополя.

— Чудесные, верно. Рубить жалко, а вот высаживать их тут было глупо.

— Так неужели все-таки...

— Срублю! Пусть выговор мне влепят, а все равно срублю! В комбинате — ведь вы посмотрите,— как в колоде, полумрак. В сон тянет. И настроения работать — никакого. На месте тополей клумбы разобьем, цветы посадим — самые красивые цветы. Я уж тут порасспрашивал, какие нашим рабочим нравятся.

...В ноябре 1974 года шахта «Ягуновская» добыла сверх плана 155 тонн угля. Цифра эта настолько мизерна, что и говорить-то о ней неудобно. Однако послушаем бригадира с «Ягуновки», Героя Социалистического Труда А. Бабенко. На собрании актива комбината «Кузбассуголь» 15 января 1975 года он вот что сказал: «После долгого отставания наконец-то в 1974 году наша шахта заработала хорошо. В отдельные месяцы мы поднимали на-гора по пять-семь тысяч тонн угля сверх плана. А в ноябре вот добыли всего плюс 155 тонн. Но радость и гордость за свой коллектив испытывали не меньшую, чем раньше. А дело в том, что в ноябре на одном из наших участков случился пожар; был выведен из строя забой, который давал 20 процентов суточной общешахтовой добычи. И вот без этого, самого мощного и производительного забоя, коллектив предприятия сумел не только справиться с планом, но и перевыполнить его. Эти 155 тонн дороже для нас, чем пять-семь тысяч. Мы почувствовали уверенность в своих силах, мы научились преодолевать трудности».

Эти слова знатного шахтера были встречены аплодисментами.

А в заключение своего выступления он попросил у руководителей комбината знаете что? Помощи... в ремонте дороги от шахтового поселка до города. Это был наказ рабочих.

...Я слушал А. Бабенко, а вспоминал вновь Кочеткова и свой первый приезд на «Манеиху» осенью 1973 года. Николай Георгиевич встретил запросто и любезно — это в его натуре. Но пошел показывать мне не комбинат шахты, не участковые раскомандировки, не подземные забои (все это было позже); он пошел показывать мне... овощной склад. Свой, шахтовый! Он находился по соседству с административно-

бытовым комбинатом предприятия. Бригада проходчиков «прошла» чуть не насквозь естественную горку, закрепила кровлю анкерами, смонтировала вентиляцию — лучшего места для хранения овощей и не придумаешь. На аккуратных полочках — кочаны капусты и лук, в буртах — морковь и свекла. Заготовили все это также рабочие шахты — в подшефном совхозе.

— Зимой в столовой блюда из свежих овощей будут — это ж чудесно! — сказал Кочетков. — И потом мы и на дом, видимо, сможем отпускать овощи нашим рабочим, что им по магазинам-то после работы бегать...

Современный директор... Человек интеллигентный, знающий свое дело. Другим и невозможно представить себе современного директора. Тем более директора шахты — предприятия весьма сложного.

За последние десять-пятнадцать лет большинство шахт Кузбасса претерпело такие крупные изменения, что сравнить это впору с революцией. Но любое из технических и технологических новшеств в конечном счете преследовало цель — достигнуть резкого улучшения хозяйствования. А это, в свою очередь, невозможно без совершенствования самого человека. Это закономерность. Вспомним, именно так, учитывая эту закономерность, действовал В. И. Ленин. Все его распоряжения были рассчитаны не только на достижение какой-то определенной хозяйственной цели; они были рассчитаны и на воспитание людей, выполняющих поставленную цель.

...Несколько лет назад в составе бригады специалистов-угольщиков и партийных работников области мне пришлось знакомиться с шахтами Орджоникидзевского района Новокузнецка. На одной из них — весьма посредственной по тем временам — я оказался свидетелем... забавной, что ли, сцены.

В кабинете директора собралась вся бригада. Разговор шел о перспективах развития предприятия; директор подробно и обстоятельно отвечал на вопросы. А взгляды присутствующих все чаще и чаще обращались к чеканке, что длинной и узкой полоской разместилась на одной из стен кабинета. На металле была изображена сельская нива: уходящие вдаль, до горизонта, поля, фруктовые деревья. А на переднем плане, занимая чуть не пол-листа, возлежала... обнаженная дева.

Чувствуя, что внимание присутствующих рассеивается, на предмет-«соблазнитель» посмотрел и сам руководитель бригады. Потом перевел хмурый взгляд на директора.

— Нечто вроде порнографии? — спросил.

— Ну, что вы! — искренне удивился директор. — Произведение искусства! Талантливого художника.

— К вам же рабочие в кабинет заходят...

— Ну и что ж?! — удивление директора было столь же неподдельным.

— Смотрят, небось, — и представительный руководитель кивнул в сторону чеканки.

— Смотрят. Я бы даже сказал — любуются.

Руководитель бригады еще раз окинул взглядом картину. Со смаком вымолвил:

— Есть на что любоваться-то, ничего не скажешь...

Директор тактично перевел разговор в другое русло; спорить, а тем более доказывать что-то здесь было бесполезно.

...На обеде, устроенном директором шахты членам бригады, представительный руководитель рассказывал самые пошлые анекдоты... Нет, видно, сто раз прав был купринский герой, утверждавший, что «жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного вымысла...»

Но сначала — о павлинах.

Начальник отдела шахты остановился напротив полуразрушенного здания из красного кирпича и спросил меня:

— Знаете, что здесь скоро будет?

— Не знаю.

— Шахтовый профилакторий. Вернее, его второй, новый корпус. Игрушка будет, а не профилакторий. Представьте: внутри бассейн, где плавают рыбки, пальмы растут, а по крыше павлины ходят...

Я улыбнулся.

— Насчет павлинов меня, конечно, занесло. Это я образно выразился, чтоб лишних слов не тратить.

Сейчас это все на шахте «Зыряновская» существует в реальности: и чудесный профилакторий, и не менее чудесная столовая, что почище иного перворазрядного ресторана, и актовый зал, в котором приятно заседать, и удобные рабочие кабинеты. И цветы — тоже есть. Много цветов. Одного только нет на шахте — вакантных рабочих мест; и почти нет прогулов и прогульщиков.

Из захудалого, обреченного «на списание» предприятия за несколько лет «Зыряновская» выросла до одной из лучших шахт страны. Она награждена орденом Ленина; директор удостоен звания Героя Социалистического Труда. На «Зыряновской» сейчас — самая высокая среди «сухих» шахт Кузбасса производительность труда и самая низкая себестоимость добываемого топлива.

С чего же начал он, директор «Зыряновской» Владлен Данилович Ялевский?

С поиска интересов! Что это значит? По словам самого Ялевского, это не что иное, как «умение отдать свою мысль другому, чтобы он был ее агитатором, проводником в жизнь».

Образцово-показательная шахта Министерства в Подмоскowie.. Что там показательного и что образцового? Почему нельзя сделать то, что есть в Подмоскowie у нас? Мысль? Мысль!

Инженерно-технические работники шахты побывали на образцово-показательной. Кроме идей и готовых решений они «вывезли» оттуда и нечто большее — здоровое чувство зависти; на этой почве «произросла» активность к действию, «проклюнулись» зерна патриотизма к родному предприятию. Сделали сначала малое — осветили лампами дневного света основные выработки. У горнотехнического инспектора

«аппетит разгорелся»: «Давай и забои освещать, — требует. — Чем мы хуже образцово-показательной?»

«Без бутылки в мехцехе ничего не сделаешь...» — от рождения, казалось, засело это в головах эксплуатационников. С тем и жили. Директор предложил отчитаться мехцеху перед всем коллективом шахты. В актовом зале собрались рабочие; в президиуме тридцать пять человек — весь состав механического. Не взаимные претензии разбираются — идет многосторонний поиск резервов различных служб и звеньев производства, объединенных единой целью: как работать эффективнее. Наиболее злободневные вопросы найдут потом отражение в общешахтовом плане. А план — закон, его надо выполнять! И не дяде со стороны, а каждому из «прописанных» на шахте. В том числе и рабочему.

Не знаю другой такой шахты, где бы рабочий был столь подробно и обстоятельно информирован о делах своего коллектива, чем на «Зырянской». Причем, не позднее третьего-пятого числа каждого очередного месяца. На шахте это уже вошло в систему. А оперативность информации — импульс к действию. Безо всякой раскачки и модной еще в большинстве случаев подготовительной кампании с массой бумаг и никчемных заседаний. (К слову сказать, и заседать на «Зырянской» умеют. На оперативных совещаниях — с семи тридцати до восьми утра — успевают высказаться до тридцати человек. По делу, без болтовни).

— И не только высказаться, но и поругаться еще успевают, — весело замечает Ялевский.

И совсем не случайно, наверно, оттуда «сверху», из директорского кабинета, «вынесли» рабочие лозунг, написанный сейчас у них в мойке: «Отработал — не теряй время! Тебя ждет школа, семья, любимые занятия».

...О директорах-чудаках — или, как их еще величают, «исторических личностях» — в шахтерской среде до сих пор были ходят. Одна из таких «исторических личностей», например, утренний наряд непременно проводила в пижаме и домашних шлепанцах. Шутовской с виду наряд в таких случаях без промаха бил по психике подчиненных: вот, мол, видите, как за шахту болею, глаза не успел в постели протереть — и уж вновь в заботах об угле насущном.

Про Ялевского рассказывают другое. Такое, например. Зашел он как-то пообедать в ресторан, что в центре Новокузнецка. Глядь, в укромном месте, за столиком в углу зала, расчудесная компания — четверо начальников участков — пир правят. Время выбрали, ничего не скажешь, подходящее — второго наряда. Ну, сделал Ялевский заказ, ждет, газету свежую просматривает. Заметили присутствие «самого» и подчиненные. Удивились поначалу: и как это его занесло сюда, за двадцать километров от шахты? Посовещались на предмет выхода из создавшегося положения: нутром почувствовали, что «сам» их тоже засек, отступать некуда. Выбрали «парламентера». Тот подошел к столу директора:

— У нас тут большое событие, Владлен Данилович... — начал.

— Это хорошо, что событие,— перебил его Ялевский,— тем более, что большое, как ты говоришь. Но вот если сегодня хоть один из ваших участков план не выполнит — прошу завтра утром явиться ко мне. Всем! И ровно в семь. А имениннику мои поздравления передайте...

Это многим директорам в минус засчитывалось, если не знают они, когда их подчиненные в шахту ходят. Ялевский в этом плане не следит даже за начальниками участков. «Главная их задача,— подчеркивает он,— обеспечить рабочим работу и заработок. Скажу больше: меня в общем-то мало беспокоит и то обстоятельство, если, скажем, какой-то участок два-три дня хромает — на производстве всякое случается. Но если он минусует более двух-трех дней — это уже отклонение от нормы. Значит, есть повод для встречи с руководством участка».

И такие встречи происходят: в одном случае — в обстановке деловой и принципиальной. Это, если повод для «отклонения от нормы» весьма существенный и требует «зарядки мозга» всем — от директора до рабочего. И в другой обстановке порой происходят эти встречи. Еще с порога директор может озадачить начальника участка примерно таким вопросом:

— Вы что, не хотите у нас на шахте работать?

— Кто вам сказал?

— Ведомость.

— Какая ведомость?

— Та, где ваши рабочие расписываются в получении зарплаты. Самая низкая ведь у них на шахте за прошлый месяц. Почему?

И приходится держать ответ. Сначала перед директором. Потом — перед рабочими.

Ответственность воспитывает. Но как привить подчиненному это чувство ответственности? Не побоюсь сказать: на «Зыряновской» первым примером для многих стал директор. От него унаследовали все (!) инженерно-технические работники личные планы работы, непосредственно увязанные с нуждами предприятия; его смелостью в мыслях «заболели» подчиненные; его аккуратность в мелочах дисциплинировала разболтанных; его верность собственному слову заставляла других заниматься не прожектерством, а думать реально; его работоспособность, наконец, придавала сил уставшему и разочарованному...

Смелостью планов на будущее заражен этот человек. Потому что он видит реальные пути их воплощения. И тех, кто будет «делать» эти планы. Это с бесспорной наглядностью подтвердила последние пятилетка зыряновцев. (План ее в свое время даже был рассмотрен и одобрен коллегией Министерства угольной промышленности СССР).

Вот основные рубежи этого плана на 1971—1975 годы: увеличить производственную мощность шахты в 1,2 раза и довести ее до двух миллионов тонн угля в год; нагрузку на забой — до 31 167 тонн; уровень мехпроходки подготовительных выработок — до 81 процента; производительность труда — до 140 тонн угля на рабочего в месяц; себестоимость тонны топлива — до 5 рублей 80 копеек; на 52 процента увеличить прибыль предприятия; более чем в два раза — фондовооруженность труда.

Эти «голые» цифры говорили, по крайней мере, о двух вещах: о масштабности выдвинутых коллективом задач и об огромных трудностях, связанных с их реализацией. Возьмем важнейший показатель эффективности производства — производительность труда. За годы восьмой пятилетки, когда на «Зыряновской» шло интенсивное техническое перевооружение во всех звеньях угольного производства, производительность труда возросла на 45 процентов. В девятой же пятилетке, когда техника в основном оставалась старой, производительность труда должна была возрасти уже на 60 процентов.

Зыряновцы выполнили пятилетку по добыче угля за четыре с половиной года; выдержаны, а в отдельных случаях перекрыты все качественные показатели работы.

...Полтора десятка лет, пожалуй, знаком я с Федором Константиновичем Прусаковым — директором ордена Октябрьской Революции шахты «Комсомолец», — в прошлом главным инженером ее. Для нашего брата-журналиста человек этот — сушая загадка. Уж больно трудно «разговорить» Прусакова; от природы, видно, человек молчаливый и замкнутый. А может быть, просто скуповат на время и ценит его в своей работе превыше всего? Трудно сказать. Знаю только, что и известный писатель — автор нескольких «шахтерских» романов — загорелся как-то мечтой написать очерк о Прусакове. Ну, а уж писателям-то сам бог велел в душу своих героев влезать. Но заклинилось, видно, что-то и у писателя: очерка пока нет...

Вот и выходит: о шахте мы куда как много знаем, а о директоре ее — почти ничего.

В годы восьмой пятилетки шахтеры «Комсомольца» выступили инициаторами досрочного освоения проектных технико-экономических показателей. Инициатива эта была одобрена ЦК партии. Коллектив с честью сдержал слово, за что и был удостоен высокой награды Родины.

Антон Рутковский, Михаил Качесов, Анатолий Гурьбин... Эти имена шахтерских бригадиров с «Комсомольца» знает вся страна. Бригада Рутковского — всесоюзный рекордсмен месячной производительности очистного механизированного комплекса; в бригаде Качесова — одна из самых высоких в стране производительность труда; проходческий коллектив Гурьбина — всесоюзная школа передового опыта.

В сентябре-октябре 1972 года на «Комсомольце» впервые в мировой практике был осуществлен разворот комплекса на 90 градусов. «Этот эксперимент на шахте, — писал позднее в одной из своих статей профессор доктор технических наук П. Ковачевич, — открывает большие перспективы для применения комплексов не только на пологом падении, но и на крутом».

И как доказательство этого — еще один эксперимент на «Комсомольце». И вновь впервые в мире. На пласту наклонного падения комплекс развернут на 110 градусов! На основе исследовательских материалов, полученных при осуществлении этого эксперимента, в институте горного дела имени А. Скочинского разрабатывается сейчас опытный образец оборудования для отработки наклонных пластов с разворотом агрегата на 180 градусов. Первый образец этого оборудования будет

испытан на «Комсомольце». Научно-производственные эксперименты, проводимые на шахте, открывают захватывающую перспективу наиболее рационального и высокопроизводительного использования отечественной горной техники, значительного снижения трудоемкости работ, связанных ныне с демонтажом комплексов.

Конечно же, все эти достижения — плоды труда не одного десятка людей, в том числе и специалистов: заместителя директора шахты А. Сидоренко, начальника участка С. Гутовского, старшего инженера научно-исследовательского сектора КузПИ В. Шарова и других. Но душой дела был, бесспорно, директор шахты.

Помню, как в сентябре 1974 года, консультируя механика участка шахтного транспорта В. Параскуна по одному из его газетных выступлений, Федор Константинович, просматривая рукопись автора, заметил:

— А что же ты умолчал о концентрации работ на погрузочных пунктах?

— Так это ж ваша идея... — робко возразил механик.

— Не в этом суть... И о безреостатных схемах управления также упомянуть надо.

— Это ведь тоже ваше предложение, Федор Константинович.

— И о применении спаренных электровозов рассказать надо, — продолжал директор, не обращая внимания на протесты автора статьи. Он просто не разделял понятий «мое» и «наше». Важен был конечный результат большой работы, сделанной коллективом. А результат говорил сам за себя: производительность подземных машинистов была на «Комсомольце» чуть не в два раза выше, чем на других шахтах рудника; нагрузка на электровоз — одна из самых высоких в системе Министерства угольной промышленности страны.

В том же, 1974 году в одной из статей Ф. Прусакова, опубликованной нашей прессой, я прочитал: «Мы научились управлять газовыделением из выработанных пространств, выемочных участков при бесцеликовой отработке пластов. Поломаны все представления о технологии подготовки, отработки ярусов и панелей пологих пластов, о схемах вывода метана за пределы выемочного участка. Одновременно созданы поверхностные передвижные дегазационные станции. Все это позволит увеличить нагрузку на очистной забой по условиям проветривания в три раза. Экономическая эффективность только за счет сокращения потерь угля составляет по шахте 100 тысяч рублей в год».

«Мы научились...» — писал Ф. Прусаков. А ведь учителем-то был он сам. Через год директор шахты успешно защитил диссертацию на звание кандидата технических наук.

Но только ли богатой инженерной фантазией наделен этот человек? Только ли суть его производство? Кабы так, можно было б без труда найти фигуру и представительней. Прусаков же с высокой трибуны авторитетного совещания не стесняется во весь голос заявить:

— Непонятно мне: норма выработки в бригаде Качесова выше, чем в бригаде Черепова с шахты «Октябрьская», а зарплата почти на сто рублей меньше. Почему?

Не стесняется постоять он за рабочего человека и на еще более авторитетном совещании угольщиков:

— Посмотрите на спецодежду наших рабочих: ведь неудобна она чертовски. Каски для проходчиков обводненных забоев аж у лесорубов заимствуем...

У Прусакова на шахте одна из лучших рабочих моек, неплохо поставлено здесь дело с горячим подземным питанием горняков.

Мало говорит Прусаков и много делает. Упрямство его самой высшей пробы. Потому что цель благородна: не для себя делать — для людей. Они потом для него — лучшая и надежная опора. Такая опора, которая не уходит из-под ног... «Наш Федя», — любовно зовут его на шахте.

Директора другой шахты тоже величают. Только как — говорить неудобно. Он чем вошел «в историю»? Сумасбродностью наказаний. Увидит, скажем, в административно-бытовом комбинате рабочего с папиросой — тут же метлу в руки ему сунет. И месяц держать прикажет. И ведь держали, которым в голову не приходило, что наказание это — незаконно. Ничего, кроме неприязни к «самому», столь сумасбродное наказание и воспитать в людях не могло: «Мы его считали за апостола, а он хуже кобеля пестрого...»

...Мы поднялись на-гора. От многочасового лазания по шурфам и забоям ныли спина и ноги. Кочеткову — по всему чувствовалось — тоже нелегко было: капельки пота, словно дождевики, усеяли его лицо. Наскоро сбросив спец, прошли в мойку, предвкушая пьянящую прелесть возвращения сил и бодрости. Увы и ах! Душ лишь недовольно фыркал — воды не было...

Кочетков вызвал кого надо. Тут же, в мойке «отчитал»:

— Так помоемся мы сегодня или нет?

— Обязательно, Николай Георгиевич. Я мигом. В рабочей мойке отключу воду — здесь, у вас, нормальный напор будет.

— Отключать не надо, пусть смена сначала моется.

— А вы?

— А мы пока посидим, перекурим.

И он протянул мне пачку «Столичных» — своих любимых сигарет...

«Мелочи все это», — скажет иной. Да, мелочи, которые говорят обо всем. Да, мелочи, которые не позволяют сомневаться в благородстве человека — истинно божественном начале всех его начал.

Людам благородным завидуют.

Нет ничего хуже и грешнее на свете этой постыдной зависти!

НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

* * *

Каждый поэтический семинар — всегда праздник. Праздник для руководителей, взволнованно ожидающих встречи с новым ярким молодым дарованием. Праздник для участников, не так уж часто встречающихся за «круглым столом» семинара, чтобы почитать свои стихи, послушать стихи товарищей, поспорить, выслушать оценку своего творчества, пусть даже иногда весьма суровую и нелицеприятную... Праздник и одновременно экзамен.

Не отличался в этом смысле от других и поэтический семинар, состоявшийся в Кемерове в конце прошлого года. Обсуждалось творчество восьми молодых поэтов — людей самых разных по убеждениям, профессиям, жизненному и творческому стажу.

Нервно комкает платочек журналистка из Новокузнецка Валентина Пьянкова: ей и сильно хочется представить свои стихи на суд товарищей, и страшновато. Внешне спокоен и невозмутим кемеровский инженер Олег Философов, хотя и предполагает, что подвергнется суровому разному... Пытается держаться как можно незаметнее пожарник Александр Раевский, самый молодой из участников, однако опытному наблюдателю заметно, что он знает себе цену. В общем, что ни человек, то характер, судьба, темперамент.

Много было споров, самых непримиримых и взаимоисключающих суждений и на самом семинаре, и в перерывах, и, наконец, в гостинице, где поселились новокузнецане — их было пятеро, не считая гостей и руководителя делегации Ю. Шатина, самая дружная группа на семинаре.

Единодушным было, пожалуй, мнение

**Алексей
Томилов**

Мне опять побывать довелось
В том селе, в котором я вырос.
Осыпаются ягоды в горсть.
Вспоминается все, что забылось.
Вот и главная площадь Кресты
С размазанной киноафишей,
И горящей рябины кусты,
И ватаги разбойных мальчишек.
А в ДэКа,—
И не верится мне,—
На большом живописном портрете
И на самой широкой стене
Друг мой детства —
Овсянников Петья.
Тот, с которым пасли мы коров
Не одно босоное лето,
И делили на речке улов,
Провожали девчат до рассвета.
На груди его в ряд ордена,
И вразброс золоченые знаки,
А во взгляде забота видна
Рядового
Простого трудыги.

только о стихах А. Раевского. Теплота, лиризм его дарования, окрашенного неуловимой иронией и юмором, тронули всех.

Зато сколько разногласий вызвало творчество кемеровчанина Михаила Орлова. Одни буквально не принимали его стихов — нарочито усложненных, перегруженных метафорами. Другие утверждали, что в его стихах «что-то есть». Третьи целиком принимали одно и категорически отрицали другое. В общем, нашлось о чем поговорить на семинаре. Почти три дня, заполненных напряженной и очень важной для молодых поэтов работой.

Заметно вырос по сравнению с предыдущим семинаром журналист Николай Николаевский. Новые темы, интонации появились в стихах Николая Колмогорова. Валья Пьянкова с подкупающей искренностью призналась, что «она ленивая», и ею действительно написано очень мало. Но лучшие ее стихи волнуют и запоминаются. В стихах строителя Алексея Томилова отмечено знание жизни, тяготение к песенному, «самоцветному» народному слову.

Конечно, далеко не все ладно в стихах участников семинара. Да и разговор шел, в основном, о недостатках — ведь семинар это прежде всего форма литературной учебы. В творчестве Олега Философова, например, чувствуется немалый жизненный опыт, но многие его стихи полны скованности, встречаются штампы, малонинтересные ситуации. Немало горьких слов было сказано и в адрес Леонида Сербина. Его упрекали в том, что он вот уже много лет творчески не растет.

В одном были единодушны и руководители семинара (а их было шестеро, почти по числу участников), и сами обсуждающиеся. В поэзии не должно быть места сестроты, скуки, штампу, повторению уже известного.

Семинар прошел дружно, весело, и, думаю, надолго запомнится всем, кто принимал участие в его работе.

ИГОРЬ КИСЕЛЕВ, руководитель семинара

Отдохну под осиной.
Под березой опять
Коробуху-корзину
Я нарезал опять.

Отдохну под осиной.
Листопад отошел.
Небо радует синью,
Мне легко, хорошо.

Листопад отошел
Золотисто-багряный
Он сгорает у ног.
А не рано, не рано
С ним прощается лог?

Отдохну под осиной,
Не закрою глаза —
Пусть наполнятся синью,
Как вот эти леса.

Ветер тихо вздыхает:
Винюват, винюват.
А у ног потухает
Листопад, листопад.

Листопад потухает...
Он и вспыхнет еще.
Мне давно не бывало
Так легко, хорошо.

г. НОВОКУЗНЕЦК

Николай Колмогоров

ЗДРАВСТВУЙ

Паром через Кию!

Ревет ледяная стремнина под бортом...

Речное ущелье ревет!

Сквозняк. Тянет дымом прогорклым.

Дымящийся избами берег навстречу парому идет.

Толпится народ разговором и дальнего берега ждет.

А солнце уходит из гор, вот оно незаметно пропало.

И воздух таежная длинная тень холодком напитала.

Я еду к тебе и волнуюсь, тебя увидав.

Я глубже вдыхаю вечерние сильные запахи трав.

Любимая, здравствуй!.. Пускай между нами разлуки не будет.

Пусть долго не тает осенняя нежность моя.

Какое хорошее слово придумали добрые люди:

«Любимая, здравствуй!» Ты слышишь, ты слышишь меня?

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ

Присядем. Помолчим. Ненастная погода.

Стеклянный хруст дождя. Корякские хребты.

Набрякла синевой Чукотка возле входа

в дощатый домик наш у каменной гряды.

В бесчисленных ручьях, в прозрачайших речушках

сверкает масса рыб и всплесками кишит.

Присядем, помолчим, пока остынет в кружках

зеленый крепкий чай — а он и не спешит.

В окне поет вода, а нам с тобой на смену.

Вот ветер — он иной, совсем иной вблизи.

Здесь в тучах комарья мы бродим по колено,

да не в какой-нибудь, а в золотой грязи!

И бешеной струей из гидромонитора

огромные камни отбрасывает прочь.

Работа, как всегда, прекрасна и сурова,

но говорить о ней — себя не превозмочь.

Мне снятся каждый раз причудливые слитки,

весенний рев гусей и тундра, вся в цветах.

Здесь ирисы цветут, и золотой улиткой
медлительное солнце стынет на хребтах.
Здесь видишь, как нигде, нагую суть людскую.
Характер на характер, и что ни жизнь — проем
в какую-то страну бездонно голубую,
которую мы все отчетливо зовем.
И северной земли болотистые недра
сокровищами вечными влекут.
И думаешь порой: насколько все же щедро
они за этот труд нелегкий воздают.

В родных местах, где все мои пути,
просвечен мир и долго дремлет стадо.
Сидит пастух и цедит луч в горсти...
Как зябок жест и как сильна прохлада!
Предчувствием зимы уже сквозит
сухая глушь исхоженного бора.
Сорвавшаяся шишка простучит,
как пауза — в середине разговора.
И речь моя нечаянно замрет.
Я задержу дыхание на мгновение...
Осенний час, глубокий свет высот!
Но не унять в груди сердцебиенья!

г. КЕМЕРОВО

Николай Николаевский

Приставки тяжесть придают словам.
А ну, прибавь-ка «раз» к «очарованию»:
По смыслу хуже, чем четвертование,
А что там по размеру, по слогам!
Приставки предлагают нам ценить
Свою порой обманчивую малость.
И что б там ни болело, ни ломалось,
Ведь говорить — не суть приговорить.
Когда слова стремлениям сродни
И без подпорок будут душу славить,
Но если подлость к тем словам приставить,
Ложь приплести, и — мертвые они.
Начало слова... мысль уже видна!
Не дай вам совершить сейчас оплошность.
И тут нужна совсем не осторожность —
Здесь честность непреклонная нужна.

КОЕ-ЧТО О РЕЛИГИИ

Каких событий отголоски,
Что так ведется испокон:
Мы говорим — умен чертовски,
Не скажем — божески умен.
Что бог? Он чопорный и черствый.
Он жаждет жертв, крестов, икон.
Правдоискатель звался чертом
И в черный список был внесен.
Во мгле веков свой чуб ероша,
Простак провидчески постиг:
Богач и ябедник — святоша,
А друг хороший — еретик.
А сколько лет внушали черни:
Как против бога устоишь?
Но шла борьба.
Еще Коперник
Повысил дьявольский престиж.
Окно открою осторожно.
Я твердо знаю, чья взяла...
Встает рассвет, горит безбожно.
А жизнь так дьявольски светла.

ТРОШКОВЫ

РАССКАЗ

1

На деревню плотной стеной наступал березняк. Сгрудившись у самого берега небольшой речки, дома разочарованно смотрели окнами на ту сторону, куда путь им был заказан: к самой воде подступили крутые лобастые горы. По их трудным склонам, поросшим акацией и волчьей ягодой, спускались отбившиеся от черневой тайги, как ярочки от отары, стайки молоденьких пихт. На половине склона остановились и дивуются на деревню: что за чудо такое?

Я приехал в эту деревню в самый разгар сенокоса и прожил в ней целую неделю, выполняя редакционное задание. С раннего утра до обеда, как нитка за иголкой, я всюду сновал за управляющим отделением совхоза: из конторы на молочнотоварную ферму, с фермы — в тракторный парк и гараж, оттуда — на пастбище, потом к косарям. Ко всему присматривался, прислушивался, обо всем дотошно расспрашивал, прямо на ходу поспешно ставил в записной книжке условные крючки. А к вечеру, немного отдохнув, расшифровывал свои крючки и делал подробные записи в толстой тетради. Занимался я этим у Трошковых на сеновале, куда поселился вопреки воле и желанию хозяев.

На центральную усадьбу совхоза я приехал к концу дня. Оттуда позвонили в отделение и наказали, чтобы устроили человека, то есть меня, «по-людски». Пока я добирался до отделения, вопрос о моем устройстве был уже решен. На крыльце конторы меня поджидала счетовод, которой было велено отвести меня к Трошковым.

У калитки нас встретил хозяин, мужичок лет за сорок с золотисто-серебряной щетинкой небритого лица. Протянул дегтярного цвета руку, сказал смущенно и растерянню, с чуть заметной картавинкой:

— Проходите... Василий... — поколебавшись, добавил нерешительно: — Кузьмич.

Хозяйка, женщина помоложе, ладная, верткая, торопливо и споро-висто домывала крашеное крыльцо, а девочка лет десяти наступала на мать, выкатывала из сеней яркий домотканый половик.

— Вы уж извините, я сейчас, мигом, — глянула на меня через плечо хозяйка и еще проворнее заводи́ла тряпкой по нижней ступеньке.

Выпрямилась, одернула платье, отставила в сторону ведро, посторонилась: — Проходите.

Мы с Кузьмичом уже закурили, и я поблагодарил.

Хозяйка, ее звали Ниной, перевела взгляд с меня на мужа, как бы вопрошая, принять благодарность или пригласить понастойчивее.

— Мы вот комаров погоняем, — показал Кузьмич папиросу.

Подхватив ведро, Нина понесла его в огород, а мы с Кузьмичом присели на лавку у крыльца. Тут же, возле лавки, стояла совсем новая, перевернутая вверх дном кадка. Когда я опустил на нее рюкзак, внутри его глухим твердым звуком напомнило о себе то, что я предусмотрительно прихватил в городе. По моей просьбе Нина поставила на кадку стаканы, а заодно и хлеб, зеленый лук, малосольные огурцы, большую чашку с жареными лисичками. Первый тост был, конечно, за знакомство.

Когда пустая бутылка за ненадобностью была отправлена под лавку, ее место на кадке заняла двухлитровая стеклянная банка. Разливая из нее по стаканам медовуху, заметно повеселевшая Нина не переставала сетовать:

— Молодая еще, не выстоялась. Поди и не понравится. Ваша-то ничего — сладкая...

Наше небольшое пиршество закончилось, когда стали сгущаться сумерки. На землю опускались тугая тишина и мягкая свежесть. Я наслаждался ими с упоением каторжника, вырвавшегося из душного под-земелья на свободу. На душе было легко и спокойно, как никогда. Но тут последовало приглашение Нины:

— Проходите в дом. Отдыхать будете.

— Спасибо, но я не пойду, — возразил я.

— Как так? — опешила Нина. — Вас же к нам определили.

— Я у вас и останусь, только на сеновале.

— Еще чего? То ли у нас в избе места мало. Уж и постелено, — голос у Нины густой, напористый. — Мужик!

— Ага, давай-ка, брат! — выпитое никак не сказалось на Кузьмиче, он оставался все таким же растерянным и смущенным, как и в момент нашего знакомства. — Поди, умаялся в езде-то. Отдохнешь дак...

— Самый лучший отдых — на свежем воздухе.

— На сене-то да на холоде? И разговаривать даже не хочу, — Нина взяла меня за руку выше локтя и повлекла за собой.

Я упрямо не поддавался ей.

— Врачи советуют...

— Такое их дело — советовать. А вы ступайте в избу. — Но тут, наверное, в голову Нины пришло нехорошее предположение. Сбавив тон, сказала с оттенком обиды: — Конечно, у нас не бог весть какие хоромы, а все же не хуже, чем у людей. Прошлым летом двое городских инженеров неделю жили, ничего, вроде довольны остались.

— Да не в етим, мать, дело, — остановил жену Кузьмич. — Может, вишь, так-то ему интересней.

— Мало ли что интересней. А завтра люди начнут корить да паль-

цами тыкать. Постояльца, мол, принять приняли, а в дом-то и не пустили. Сраму не оберешься.

— Эка важность. А ты плюнь.

— Плюнешь — не освятишься. — Но все-таки Нина была урезонена мужем. — Так не на голом же сене будете там.

Побежала в дом, вынесла тулуп, одеяло, подушку, старенькое, но чистое покрывало. Приняв это, как победитель контрибуцию, сопровождаемый и инструктируемый Кузьмичом, я торжественно поселился на сеновале.

Нина, подойдя к лестнице, сокрушенно покачала головой:

— Как каторжник прямо. Замерзнете ведь. Шли бы, говорю, в дом.

Не получив ответа, пожала плечами:

— Чудной какой-то человек. И что это за спанье будет...

2

Хозяев дома нет — не пришли еще с работы. Кузьмич — совхозный электрик, Нина — техничка в школе. Сижу на сеновале, сосредоточенно записываю в тетрадь впечатления дня или читаю книгу. Сеновал стоит лазом прямо к дороге. Мало ли народу проходит мимо — на всех головы не наподнимаешься. Но как только слышу ее шаги — я их уже заучил: мелкие, чуть-чуть шаркающие — откладываю тетрадь или книгу в сторону, спрашиваю:

— Наташа, куда путь держишь?

Наташа — это дочь хозяев. Худенькая, голенастая, с острым личиком, в очках, она, как неугомонная пчелка, все время о чем-то хлопочет, чем-то занята. Вот и сейчас куда-то с бидоном направилась.

— На старый ключ за водой пошла.

— А что, есть еще и новый?

— Есть. Недалеко, за коровником. Только вода в нем не такая вкусная. А в старом — холодная и вкусная. Он дальше нового, по дороге как на братскую могилу идти. У нас братская могила есть. В ней двенадцать партизан захоронено. И с ними мальчик. Сын одного партизана. Когда их белые повели на расстрел, — осень как раз стояла, — отец говорит мальчику: «Беги, сынок, через речку и — в лес». И он побежал. Спрыгнул с берега и по льду на ту сторону. А белый офицер вытащил пистолет и два раза выстрелил ему в спину. Мальчик упал на лед, завозился, сунул за пазуху руку, потом затих. А вокруг него красное пятно большо-о-ое появилось. Думаете, кровь? В том-то и дело, что не кровь. У него за пазухой знамя отряда было спрятано. Когда белые подбежали к нему и хотели вырвать знамя, то не могли, так крепко он его зажал. Двенадцать лет мальчику было. Когда учительница рассказывает про это, я реву. Сколько раз рассказывала, столько раз я редела. А давайте сходим с вами на братскую могилу.

— Давай сходим. Завтра, хорошо?

Наташа задумалась.

— Нет, лучше послезавтра. А завтра мне надо полы в доме и сен-

ках вымыть, куклам одежду постирать, уже целую неделю в одном ходят, самих искупать, как анчутки сделались. Потом им и Кольке книжку почитаю... А хотите, я вам кулончик подарю?

— У тебя кулончик есть?

— Сколько хотите. Я их сама делаю. Вот подождите, обернусь за водой. Я мигом...

На обратном пути Наташа подошла к самой лестнице.

— Хотите воды? Попробуйте,— подала бидон.— Вкусная, правда же?

Ушла и вскоре принесла обещанный кулончик — легонькую с выгравированным подснежником бляшку на шелковой синей ниточке. Что кулончик самодельный, заметно было сразу. Но как и из чего он сделан, догадаешься не вдруг. Пожалуй, я вообще не догадался бы, если бы Наташа не рассказала.

— Все очень просто. Берем алюминиевую ложку, берем полиэтиленовую пленку и поджигаем ее. Полиэтилен плавится и капает в ложку. Потом, когда затвердеет, но не совсем, выцарапываем узор, какой захочется. А чтобы узор был заметный, зубным порошком посыпаем и протираем — царапинки становятся белыми, а все остальное темное. Иголкой легонько ковырь — и кулончик отстал от ложки. Прокалываем дырочку, вдеваем ниточку, завязываем и — готово.

— И правда, просто. Тебя кто-нибудь научил?

— Никто, сама,— Наташа, довольная, улыбается скромно, с достоинством. Она любит улыбаться и, надо сказать, улыбка идет ее лицу. А вот смеется она совсем редко, коротко и как-то строго. Но однажды я рассмешил ее до слез. Хотя повод для смеха был, на мой взгляд, самый пустячный. Однажды, прогуливаясь вдоль реки, я, не помню как, поднял попавшую под ноги палочку, с ней и подошел к двору Трошковых.

— Зачем палка? — спросила Наташа.

Откуда мне знать, зачем. Но коль вопрос задан, надо на него отвечать. И я сказал первое, что пришло в голову:

— А вдруг на меня гусак накинудся бы.

Наташа от приступа смеха схватилась за живот и опустилась на корточки.

— Г... г... гу-сак! Такой большой, а гусей боитесь. Вон Колька в три раза меньше любого гусака и то не боится...

Розовощекий богатыренко Колька — братишка Наташи. Ему четыре года. Своенравный парень. Каждый вечер подходит к Кузьмичу, становится меж колен, осторожно, чтобы не уколоться о щетину, прикладывает ладони к щекам отца и говорит таким тоном, будто он сам очень изумлен тем, что ему в голову могла прийти такая мысль:

— Пап, а ты купи мне двухколесный велик, как у Витьки Воробьева.

— Для такого великана ты еще мал, сынок,— ноги до педальей не достанут.

Колька, конечно, разочарован таким ответом и повесил нос, но тут же, воспрянув:

- А подрасту — купишь?
- Вот расти скорее и купим.
- А как — скорее?
- Это уж, брат, как можешь.

Колька вздыхает по-взрослому, поворачивается и садится на свой трехколесный.

— Дж-ж-ж, — подражает машине. Едет навстречу Витьке Воробьеву и кричит ему: — Не хвались, не хвались! Зато у меня задняя скорость есть, — крутит педали в обратную сторону. — Дж-ж-ж...

Однажды, видно, Кольке совсем опостылел его трехколесный или зима вспомнилась, вынес из кладовки лыжи. Надел их на босые ноги. Сделал для разбега два шага, оттолкнулся палками, но лыжи не покатились, и Колька ткнулся носом в пыль. Поднялся, стал в недоумении оглядывать лыжи, в чем дело?

— Снега-то нет, — подсказал я ему.

Колька ничуть не смутился.

— Вот и хорошо, можно босиком и не холодно.

Выкрутился! Ох и хитрец! Хитруля — называет его мать. Отпуская на улицу, Нина скажет Кольке:

— Сегодня вечер прохладный. Куртку, сынок, не снимай. А то завтра совсем не пушу гулять.

— Ладно, не буду, — пообещает Колька. Но разыграется, станет ему жарко, стащит с себя куртку, повесит на забор и крикнет матери, упреждая ее гнев. — Mam, я завтра решил не ходить на улицу.

— Ой, хитруля! Ой, хитруля! — не может сдержать смеха Нина. — И в кого ты только такой уродился. Драть ведь тебя надо.

А рожица Кольки светится гордым лукавством.

В общем жизнь у Кольки привольная, что хочешь, то и делай. Но есть у него и постоянные обязанности: следить, чтобы куры в огороде не напакостили, вечером корову с лужайки домой пригнать, с речки гусей, уток. Со своими обязанностями Колька справляется отлично. У него всегда порядок, что самое главное. А как этот порядок достигается, значения не имеет. Это уж его, Колькино, дело.

Колька катается на велике или просто носится с ребяташками по улице, а в тени стайки лежит собачка Шарик и дремлет. Не отрываясь от своих увлечений, Колька крикнет:

— Ша-рик! Ку-ры!

Шарик подхватывается, с лаем стремительно бежит в огород и выгоняет оттуда переполошившихся курей. Возвращается на прежнее место и опять дремлет.

— Ша-рик! Ку-ры! — через некоторое время крикнет снова Колька, и Шарик опять послушно летит в огород.

Шарик — собачка небольшая, чуть побольше рукавицы. Он весь черный, лоснящийся, а лапки до колен белые, как в гольфиках. На груди белый бантик-бабочка, придающий ему этаким артистический вид. Впрочем, Шарик в некотором роде и есть артист. Он обладает исключительно редким в собачьем роду талантом — умеет петь. Если его попросить: «Шарик, голос!», он никогда не откажет в удовольствии.

Сядет на задние лапки, передние скрестит на груди, склонит голову набок и запоет:

— У-ав-у-у-у-у. Вуа-вуу-у-у.

Не спешит, не халтурит, выводит каждую ноту. Особенно старается, если Колька или Наташа аккомпанируют ему на губной гармошке. Но если заметит, что кто-нибудь к его природному дарованию относится с насмешкой, обиженно отвернется и сколько бы уже его ни просили: «голос! голос!», делает вид, что обращаются не к нему. Но такое случается очень редко, потому что все относятся уважительно к способностям Шарика. И вообще с людьми у него самые дружеские отношения. Исключение составляет одна только почтальонка. При виде ее Шарик становится упругим комком злости. Шерсть на загривке дыбит, зубы оскаливаются. Но может ли он вести себя иначе, если почтальонка всякий раз приближается к дому Трошковых с палкой или с поленом в руках?

— У, холера! Я вот тебя! — грозит она Шарiku и, не доходя до калитки, кричит: — Наташка-а-а! Пошел, нечистая сила! Наташка, где ты там? Забери-ка вот газеты... У, чтоб ты околел! — и почтальонка боком, боком убегает.

Впрочем, теперь появился у Шарика еще один неприятель. Как-то играли ребяташки в догоняшки. Шарик носился со всеми по полю, ему тоже было весело. Прижав уши и волоча по земле хвост, делал круги, вертелся волчком, дурашливо рычал и бросался на ребяташек. Так разошелся, что попал под ноги городскому Андрейке, мальчишке чуть постарше Наташи, приехавшему в гости к Воробьевым. Андрейка споткнулся и упал на одно колено. Мальчишке не придать бы этому никакого значения — и он и Шарик, — оба были в азарте игры и под ноги не смотрели, — а Андрейка со злом пнул Шарика да еще хотел огреть его хворостиной, которую держал в руке. Шарик успел отскочить в сторону, зарычал и уже изготовился схватить обидчика за штанину, но Наташа прикрикнула на него:

— Шарик, не смей!

— Чего собаку распустила? — осмелел и завозмущался Андрейка. — Я вот сейчас тебя самое этим прутом.

На лице мальчишки было столько злобы, что он и в самом деле мог хлестнуть Наташу. Я видел это и уже хотел было вступить, как вдруг подскочил Колька, заслонил сестру своим маленьким телом и сказал с суровой твердостью:

— Только удары! Нас трое. Только удары!

Шарик тоже подошел поближе и бдительно наблюдал, что будет дальше, чтобы в случае чего оказать друзьям подмогу. Я решил, что мне вступать в это дело нет никакой надобности. Агрессивный Андрейка стоял перед неприступным бастионом дружбы и отваги.

Обычно первой приходила с работы Нина. Не присев ни на минуту, не осмотревшись, с ходу окуналась в прорву домашних дел. Кормила поросенка, стирала белье, бежала в огород полоть грядки, варила ужин, доила корову. Делала все легко, будто походя, но выходило у нее ладно и надежно. Рядом с Ниной копошилась и Наташа. В отношениях между матерью и дочерью преобладало молчаливое и прочное согласие, будто у них была одна общая воля, одни думы. Лишь изредка они обменивались какими-нибудь малозначительными фразами.

— И какая же вредная эта трава жабрей. На прошлой неделе все выполола, уже опять выросла,— это голос Нины доносится из огорода.

— Так дождь же прошел,— отзовется Наташа, и опять работают молча.

— Ой, помидорчик отломила нечаянно! — воскликнет вдруг Наташа.— Ну и пусть. Положу его на окошко, он покраснеет.

— Покраснеет, а чего ж,— подтвердит Нина...

Кузьмич, возвращаясь с работы, всякий раз подходил к сеновалу, приветствовал меня:

— Здорово были.

Ставил на перекладину лестницы ногу, перекидывал через колено рабочую куртку и пристальным усталым взглядом обводил свой двор. Угрюмоватый от природы, он всегда казался усталым.

— Поднимайся, Кузьмич, покурим.

— И то. Покурим, пожалуй.

Кузьмич поднимался на сеновал, усаживался рядом со мной. Закуривали, и Кузьмич несмело хихикал.

— Что? — спрашивал я.

— Да приехал это, значит, цыган в город...— и рассказывал анекдот. Какой-нибудь старый, бородатый, а если и новый, то получалось у него неинтересно, и смеяться приходилось ему одному. Кузьмич конфузился и сопел. Чтобы избавить его и, конечно, себя от неловкости, я заводил какой-нибудь разговор.

— Чем сегодня занимался, Кузьмич?

— На работе? Да все в новом доме проводку ладил.

— Закончил?

— Только что. Да бабы, едри иху маковку. Давай, говорят, быстрее, штукатурить надо. А как тут быстрее? Кирпич, знамо дело, не бревно, так-то просто в него гвоздь не вобьешь. Нет, заладили: кончай скорее, штукатурить надо. Бабы, говорю, того ведь не смыслят, что ежели сделаешь как ни попади, опосля замкнет,— вот тебе и пожар, вот тебе и скорее.

— Так уж сразу и пожар?

— А что ты думаешь? С нашим народом недалеко и до пожара. В дома-то чего ведь только не понаташили. Там тебе и плитки, и утюги, и холодильники, и стиральные машины. Да что там: самовары теперь и

те, едришкина маковка, электрические пошли. Тройников набрали и все в одну розетку суют. Как вечер, так энергии не хватает.

— Трансформатор надо помощнее ставить.

— Да куда же еще мощнее,— оживлялся Кузьмич.— Я тебе сейчас все обскажу. Я тут электриком с первого дня, как электричество провели. Вначале ведь у нас своя станция была. На речке стояла. Мощностишка генератора — всего-навсего пятьдесят киловатт...

— Мужик,— появляется возле лестницы Нина. На бедре она держит таз с бельем. — Я пошла на речку полоскаться. А ты за вареньем смотри, чтоб не сплыло да не подгорело. Я его только поставила, немного погода помешай. Слыхал?

— Слыхал. А Наталья-то где?

— Сахар вышел, в дежурку послала.

— Ладно. Иди.

Кузьмич продолжает рассказывать мне историю роста энергоснабжения села. Того, что давала электростанция, едва-едва хватало на кузницу да на две зерносушилки «Колхозница». А сейчас? Сейчас у Кузьмича зарплата в два с лишним раза стала больше против прежней. И неспроста: потребителей стало больше. Одна новая зерносушилка берет сто пятьдесят киловатт. Без вспомогательных механизмов. А тракторный парк, автогараж, полностью механизированные коровники, лесопилка, водокачка? Если короче, то так считать надо: все отделение питают три подстанции общей мощностью шестьсот киловольтампер. Пятьдесят и шестьсот. В двенадцать раз выросло потребление электроэнергии.

Эти цифры кажутся мне стоящими того, чтобы их записать. Я тянусь к своей тетради. Записывая, переспрашиваю Кузьмича, уточняя цифры. Вдруг из летней кухни доносится сердитый голос Нины:

— Боже ты мой! Так я и знала! Мужик! Да ты варенье-то упустил! Ах, нечистая бы тебя разнесла!..

Кузьмич, я следом за ним, спускаемся с сеновала, бежим в кухню. Полюбоваться плодами своей забывчивости. Там чадно, густо пахнет жженой смородиной, будто на плиту угодило само лето.

— Полюбуйся, туха-матюха, полюбуйся! Вот уж правда, пошли Вавилу по мотовило. Сидишь сиднем, лясы точишь, дом сгорит, сам не увидишь, пока соседи не скажут. Нет уж, наверно, тупо сковано — не наточишь, глупо рождено — не научишь. Ну чего ни попроси, чего ни заставь — испоганит или изуродует...

Нина нещадно костерит Кузьмича, а он, присев на скамейку, слушает невозмутимо, будто не о нем и речь. Потом говорит:

— Ладно, не кипи, остынешь.

Эти слова, вернее, их безразличный тон, подхлестывают Нину:

— Я же говорю — туха! Лада никакого, а ему все одно — ладно. Упрямый, как кувалда. И что за мужик. Бывают хуже, да куда как редко. Сидеть да лежать — вот тут ты мастер. Да еще винище с мужиками хлестать...

— Да, Нина,— иронически вздыхаю я,— судьба у вас — не позавидуешь. Горше калины зеленой.

Нина осекается на полуслове. Стараётся придать лицу каменную суровость, в какой-то мере ей удастся это, но улыбка, выпирающая изнутри, настойчиво раздвигает губы; Нина пытается задавить ее, хмурит брови и вертит головой, будто глаза ест дым, отворачивается. Но нет, не в силах она совладать с собой. Махнув на меня рукой, дает волю чувствам и, запрокинув голову, смеется вольно и весело, до слез.

— И правда! И правда! Ведь нас, баб, послушать, так счастливых и нет, одни горемыки. И во всем мужики виноваты. А кого ж еще винить? Их, окаянных! Их!

И, немного погодя, когда улягутся в ее душе бурные чувства, начинается по-житейски просто и рассудительно:

— Как-никак, а шестнадцать лет мы с Василием прожили. И слава, можно сказать, богу. Обходились без скандалов. Потому как не из-за чего скандалить-то. Когда я шла за него, то, правду скажу, боялась. И хотела, и боялась. С виду вроде мужик ничего, тихий и рассудительный, дурного не болтает. А чего-то ж, думаю, с первой не пожилось. Теперь-то вижу: среди нашего брата, баб, тоже есть птички. С виду ангелицы, а в душе бес сидит. И чего этому бесу надо, сама сатана не скажет. Я вот тоже заполошная бываю. Где надо, где и не надо, покричать люблю. Характер такой. А Василий, этот всегда одинаковый. Не суетной, а старательный. И на работе такой, и дома. Если уж за что взялся — до ума доведет. А начни его понукать да подгонять — заурсит. Тогда, может статься, и горшки побьет. Но такого еще не бывало, чтобы бил-колотил. Нет, грех мне на Василия обижаться. Денег не пропьет, не прогуляет, как другие. Хоть вон Мишка Зуев. Вчера с городскими напился да и трактор в реке утопил. Каждый вечер дома постановки бесплатные. Другой раз, бывает, и мой явится выпивши. Но не каждый же день. Придет, ляжет и спит. Или сидит талдычит чего, а мы смеемся. Пьяненький-то он уж такой распотешный. А чтобы на меня или на детей зря накричал — в жизни не бывало.

— Да и дети у вас, Нина, хорошие, — говорю я.

И опять на лице Нины суровость. Но уже не притворная.

— Не знаю, пусть люди скажут.

— Вот я, посторонний человек, и говорю.

— Мало ли, что вы скажете. Мужик, хватит сидеть, принеси-ка из колонки воды да зови ребят ужинать...

После ужина мы с Кузьмичом снова лезем на сеновал, и я записываю в тетрадь то, что не успел записать из-за уплывшего варенья. Потом курим и говорим о чем-нибудь совсем необязательно. Нина перделает все свои дела, уложит ребят в постель, подойдет к лестнице.

— Ну, мужик, пойдем тоже спать, что ли?

— Успеется.

— У тебя все одно — успе-е-е-ется, — передразнивает мужа, а сама уже забралась наверх. — А ну-ка, подвинься, что ли. И какое тут спанье, и как может тут нравиться.

— Сами-то, наверное, в молодости так же спали, и нравилось.

— Так то в молодости. В молодости все было, да быльем теперь уж поросло. Помню, еще снег путем не сошел, а мы, ребяташки, уже

босиком по лужайке бегаем, ручьи прудим, мосты строим. А к вечеру—цыпки, руки огнем горят—спасу нет. Мачеха сметаной мажет да по ним же колотит и реветь не велит. Ой, злющая была Михайловна, царство ей небесное. Говорит, какой бы ни была доброй мачеха, а все равно злой речется. А я вот и хотела бы помянуть своим добрым словом, да не придумаю, за что бы. К ней и родные-то дети, как выросли да свои семьи завели, глаз не стали казать. Значит, и у родных не шибко к ней сердце лежало. Тятя мой понимал, какая она есть, да молчал. А перед самой смертью подозревал меня, погладил по волосам и говорит: «Горько тебе, дочка, будет. Да что поделаешь — терпи уж как-нибудь». Умер тятя, чахотка у него была, так уж я натерпелась, уж помыкала горю. Еще и потому за Василия шестнадцать лет пошла, что моготы больше не было. Возле него только моя душа чуток и отогрелась.

Глядя на опустившееся к самому лесу солнце, большое, разрумянившееся, словно бы только из бани, рассказывает Нина о своей и Кузьмича судьбе. Она у них не какая-нибудь особенная, а как и у всех людей, скована из счастья и горя, из радостей и печалей. Сразу, как сошлись, жили у чужих людей. Работали во всю мочь. Какая копейка заведется, все на дом берегли. Сын родился, Ленья. А уже после, когда дом выстроили, Наташа нашлась. Кузьмич, трезвая голова, даже загулял не на шутку. От радости. Как хотел, так и вышло: сын и дочь. Но, как всегда вдруг, пришло горе—утонул Ленья. Почти пять годков исполнилось. Забавный был мальчонка, игривый и смысленый. На него уже и Наташу можно было оставить. И соску ей даст, и укачает, и баюшки-баю споет. А раз пошел с ребятишками постарше на речку. Все стали купаться, и он тоже, а плавать не умел. Хлебнул воды, испугался и потерял власть над собой... Хотелось Трошковым, чтобы родился у них еще сынок, но, думали, такого, как Ленья, уже не будет. Только через четыре года принесла Нина Кольку. Принесла да сама чуть было на тот свет не отправилась. Как из больницы пришла, так и стала, не дожидаясь, пока муж с работы придет, все по хозяйству делать. Подняла что-то тяжелое и раскапустилась. Три месяца пластом провалялась в постели. Все домашние заботы на плечи Кузьмича легли. А у него и по работе в ту пору дел неупорот было: как раз новую подстанцию пускал. Уж не то, чтобы пораньше, вовремя с работы не приходил. Но мужик он хоть и не такой видный собой, но жилистый—выдюжил. Подстанцию, как и намечалось, до начала уборочной сдал. Новую зерносушилку запустил. За это и за другие заслуги его орденом Трудового Красного Знамени наградили. Как раз в год пятидесятилетия Советской власти. Уехал Кузьмич в район на торжественное собрание награду получать. Поздно вечером вернулся, порог переступил, а жена ему новость: корова ногу поломала. Пришлось прирезать. Ползими без своего молока жили. Потом другую корову купили, хорошая попалась, лучше не надо. Вот она возле ограды лежит, жует жвачку, отдувается. Красивая, статная, ее так и зовут — Красуля.

— Все, что я говорила, это только так, выжимка. А если подряд рассказывать, то и на воловьей коже не написать. Всякое было. А то ли еще будет! Ведь до середины жизни только дошли.

Из-за леса, куда уже спряталось солнце, вывернулось подпаленное им снизу плотное облако. Передний край его, тонкий, размытый, нижний — четкий и ровный, но с мелкими зазубринками, словно бы огненно-рыжий кусок овчины, отпалосованный тупой бритвой.

— Солнце под тучу село, значит, завтра ненастье или хмарь будет, — заметит Нина, — опять сему в валках лежать.

— А опосля ненастья? Все равно же ведро настанет, — возразит Кузьмич.

Посидим, помолчим немного. Деревня утихает. Уставшие за день люди в спешке готовятся ко сну, чтобы с утренней зарей встретить новый нелегкий день.

— Ну, мужик, пошли, что ли? — но сама Нина не двигается. — Или, может, споем? Давай споем, как раньше бывало. — И начнет первой:

— Мне хорошо, колосья раздвигая,
Сюда ходить вечернею порой...

А Кузьмич подхватит:

— Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам дороги полевой.

Допоют до конца, Нина скажет с удовлетворением и грустью:

— Хорошая была песня. — И поднимается. — Ну, все, мужик, пойдем. Да и вы шли бы, говорю, в избу... Это надо же, какой упрямый человек.

Сонно скрипнет сенная дверь, и почти тут же до меня доносится голос Нины из комнаты:

— Спят мои котики, спят мои сладкие. Набегались за день, намазались. Одеалко-то сынок на пол уронил. Давай-ка, прикроемся. Вот так. А щеки-то немые остались. Ах ты, замазуря моя. А дядя-то чужой вас похваливает, говорит, хорошие. Да какие там хорошие — ненаглядные, — я слышу звук поцелуя. — Золоташки мои...

4

Утром я собирал свой рюкзак. Уходя на работу, Кузьмич поднялся ко мне на сеновал.

— Ну, паря, бывай. Если случись близко, заворачивай к нам.

Наташа в этот день приболела: вчера, когда мы все ходили на покос, напилась ключевой воды, и теперь у нее обложило горло. Колька уже куда-то умчался. Нина, проводив меня за калитку, подала руку, сказала с искренней виноватостью:

— Вы уж нас не корите.

— Да за что?

— На сене ведь так и прожили. Как каторжник. Перед людьми даже совестно.

Я рассмеялся.

— Хотела спросить все, — Нина замялась. — Спросить хотела. Где

же это вы так с граблями управляться научились? Как деревенский прямо.

— Так я и есть деревенский.

— Неужели? — удивилась Нина. — Во как! А я-то думала, ты из этих, интеллигентов. Ну тогда... Тогда все правильно. Приезжай еще когда. Со всей семьей приезжай. Рады будем. Спасибо тебе за все.

Дальше провожал меня Шарик. Часто перебирая впереди коротенькими ножками, он поминутно оглядывался, улыбался: «Не отставай», сворачивал с тропинки, вьющейся вдоль берега, обнюхивал кустики, пеньки, иногда поднимал ножку, брызгал и опять вприпрыжку забегал вперед.

Возле крайних изб, под берегом, я увидел Кольку. Он и еще несколько ребятшек рылись в песке.

— Ну, до свидания, Коля, ухожу я.

— Куда?

— Домой.

— А когда придете?

— Теперь уж, наверно, не скоро.

— А мы строим.

— Что?

— А новую деревню.

И в самом деле. Из песка и глины ребятшки налепили замысловатых, только им самим понятных сооружений.

— А где тут у вас что?

Мальчишки наперебой принялись объяснять:

— Это коровник, склады, гараж...

— А вот здесь дома многоэтажные, как в городе. Тут клуб, сад.

— Сейчас телевышку будем ставить, — самый старший мальчик и почему-то самый чумазый показал три связанные пирамидки прута, которым предстояло выполнять роль телевышки.

— Потом дороги начнем строить.

— Молодцы, ребята, — сказал я, — хорошая у вас будет деревня. Так до свидания, Коля.

— Ага, — равнодушно отозвался Колька. До него не доходило, что расстаемся мы навсегда. Он был «бульдозеристом». Усердно толкал впереди себя ладонями песок, надувал щеки, на губах кипела и пузырилась слюна: — Дрыт-ды-ды-ды...

Далеко за деревней, в роще, Шарик остановился. Повернулся мне навстречу, вильнул колечком хвоста: «Все, дальше не могу».

— Ну, что ж, спасибо и на этом. Спой-ка на прощанье.

Впервые за все время нашего знакомства Шарик отказался петь. Угрюмо отвернул голову в сторону.

— Тогда дай пожму твою лапу, — я опустил на корточки.

Шарик услужливо вложил в мою ладонь свою мягкую влажную от росы лапку, весело и хулиганисто лизнул меня в щеку, крутанул и без оглядки помчался обратно. В деревню, где был его дом, где были его друзья. А я пошел своей дорогой.

С поэтического семинара

Валентина Пьянкова

О ЧЕРНОВИКАХ

А стихи доверчивы, как птицы.
И взлетает над листом рука.
Набело переписав страницу,
бесконечно жаль черновика.

В книгах мы торжественны и цельны.
Но себя мы доверяем им —
столь бесхитростным и столь бесценным
маленьким наброскам черновым.

СВАДЬБА

Твоя невеста — в белом.
Иль виновата в чем я?
Смотри — невеста в белом,
а я, любимый, в черном.
Смотри — она смеется!
А я, смотри, не плачу.

Счастливая, смеется.
Любимый, я не плачу.
Смотри, какое счастье!
Смотри, а может горе:
Твоя невеста — в белом,
а ты, любимый, — в черном.

Э Т Ю Д

Красками теплыми, полуосенними
город набросан за рамой окна.
Продолговатое тополя семечко
с краю лежит: сердцевина видна.

Золото листьев края затрунуло.
Нам с высоты любопытно смотреть:
женщина воду проносит по тропке,
желтый листок покачнулся в ведре.

Всюду по комнате — южные яблоки.
Прислано много, а ваза одна.
В них на свету удивительно явственно —
только взгляни — сердцевина видна.

Полдень сегодняшний полон подробностей,
лучших подробностей лучшего сна.
Я и к тебе подхожу не без робости:
вдруг на свету сердцевина видна?

г. НОВОКУЗНЕЦК

К НЕДАВНИМ СОБЫТИЯМ В ЧИЛИ

Человек добывает руду.
Получает за это хлеб.
Садится и подносит его ко рту.

Человек выплавляет металл.
Получает за это свой хлеб.
Садится и подносит его ко рту.

Человек обработал металл.
Получил за это хлеб.
Садится и подносит его ко рту...

Но тут приходит к ним человек.
Всаживает каждому пулю в живот.
Получает за это свой хлеб.
Садится и подносит его ко рту.

Каждый вроде бы сделал свое.
Человек добывал металл
И не думал, что будет потом.

Человек выплавлял металл
И не думал, что будет потом.

Человек обработал металл
И не думал, что будет потом.

Человек всадил им пулю в живот
И тоже не думал, что будет потом.

Слепец все же чувствует кожей.
Глухой все же чувствует костью.
Но тот, кто способен работать
Не думая дальше работы,
Бесчувствен, как чучело.

На нем тренируют штыки.
На нем выверяют прицел.
Ему отсекают голову
И задом сидят на его лице.

Руду добывать не зазорно,
Металл выплавлять не постыдно.
Все это необходимо.
Но люди обязаны думать
О том, что будет потом...

О четырех ногах собака.
О четырех углах приют.
Вода из жестяного бака,
Которую сквозь зубы пьют.

Окно, завешенное косо,
И солнечный крученный луч,
И самокрутка папироса,
И на суровой нитке ключ.

И все проходит мимо двери,
Какой-то шум, какой-то толк.
Вода звенит, часы бьют девять,
И бронзовеет потолок.

И розовеет смуглый воздух,
И, папиросу затушив,
Я долго пью сквозь зубы воду
И радуюсь тому, что жив!

г. КЕМЕРОВО

ВТОРОЕ НАЧАЛО

РАССКАЗ

— А я из принципа не уйду! — все еще хорохорился он, втихомолку вытолканный в переднюю, и пустил на Анну светлой остекленелости глаза.

— Ах, ты еще и «с принципами»?! — недобро развеселилась Анна. — Я тебе покажу «принципы», я покажу!

— Пожалее! — пискнул схваченный за пиджачные борта мужичок, но уже вылетал криво, и напористо, и запинисто через порог. Хищной шуршащей птицей вылетел следом плащ, поглотил его мраком.

— Позабудь и дорогу сюда! — простучало в его висках молоточками. Дверь клацнула.

— Анюта, Анечка...

Анна прошла на кухню — так вот своеобразно успокаивала себя, — открутила сразу оба крана, вода зашипела и вспенилась, ударив в жесть раковины. Ну, господи же, ну, совершенно непостижимая тупость мужского самомнения! Не нужен, а лезет. И не выпроводишь!

Анна вспомнила о Вадьке, перекрыла воду.

Вадька скидывал со стола в портфель тетрадки, торопился.

— Куда? А уроки?

— Я уже сделал, — не поднимая глаз, ответил Вадька. Он всегда не смотрел на нее, если в дом приходили мужчины. Впрочем, сейчас в его сосредоточенности Анна различила и явное удовлетворение. «Рад», — подумала и столько всяких чувств поднялось в ней, столько разных: тут была нежность к сыну, выросшему без отца и однако не желавшему никого третьего в доме, тут была досада на себя за невозможность полностью оградить его от подобных сцен, но тут было и нечто похожее на обиду: разве совсем уже не имеет она права хотеть кого-то третьего в доме, чтобы не осуждали эти опущенные вниз глаза? Она знала также, что никакой обиды, пока сын не вырос и многого еще не понимает, быть не должно, и поэтому досада на все и всех пересилила остальные чувства и не улегшееся раздражение вспыхнуло снова.

— Куда? — повторила резко.

— К Ермакову. Я обещал.— Вадька взглянул вопросительно, и тут уже Анна отвела глаза.

— Ермаков, все Ермаков, — заворчала. — Тоже мне друг.

— Друг! — совсем повеселел Вадька и пробежал мимо в переднюю.

— Ваша дружба-то как у Онегина с Ленским: от нечего делать.

— Чево, чево? — крикнул Вадька.

— Ничево. Долго не задерживайся!

На сына Анне повезло: любые бури в ней мог усмирить своей тишиной. Иногда ей даже казалось, что не так-то мало он понимает уже и в двенадцать лет, только молчит. Правда, многое беспокоило ее: при всей его скрытности, чрезмерно для мальчика, на ее взгляд, был он чувствителен, и в том, видимо, сказалось женское воспитание, хоть воспитывал не кто-нибудь, а Анна, про которую говорили, что родиться бы ей мужчиной: харáктерная сильно.

Упорно не нравился Анне Ермаков Сашка, ближайший приятель сына. Нет, она не старалась, разумеется, запретить эту дружбу, она вполне доверяла своему Вадьке, да и сама же привела когда-то в дом рыжего задиру Ермакова, но вот не могла одолеть трехлетней обиды своей и все.

Ермаков пришел новеньким в «их» третий класс и сразу его взбуживал. Тихоня Вадька волею судеб оказался на пути, точнее, под ногами. Возможно, юная деятельная натура Ермакова, наткнувшись на противоположность себе, интуитивно почувствовала влечение к этой противоположности, то есть самый что ни на есть естественный интерес, но, поскольку девяти возрастных лет для такого осмысления явно не хватало, а противоречие имелось тоже явное, дело и приняло такой катастрофический для Вадьки оборот. Вадька запаздывал из школы, являлся зареванным, в снегу. Объясниться он наотрез отказывался, поэтому от Анны ему тоже попадало. Наконец, она все выяснила. От школы до самого дома маленького Вадьку с большим ранцем на спине сопровождал тычками рослый мальчик со товарищи — может быть, не было и не будет у Анны более тяжелой и страшной дороги. И, может быть, потом воспоминание о ней — о своем женском, материнском одиночестве тогда — особенно мешало ей уважать мужчин.

Ермакова, — а Анна сразу поняла, кто здесь кто, — и классное собрание с родителями вместе не остановило, он только стал осторожнее.

— Да почему ты такой-то? — рыдала Анна. — Ни рыба, ни мясо. Почему сдачи-то не дашь, не пытаешься даже?

— Я не могу, — шептал Вадька. — Они только этого и ждут. Тогда они совсем победят.

О господи, еще и о победе толковал! Анна тогда и поразились, и ужаснулась, и возгордилась — все сразу. Она пошла в школу и заперлась после уроков с теми мальчишками в классе. Она ни о чем не спрашивала, не доискивалась причин той упорной, бессмысленной жестокости — она просто сказала, что ей страшно, что она боится за свою страну, — да, да, именно так она и говорила, — боится, потому что

когда мальчики одной страны, одного класса враждуют между собой, это лишь на радость настоящим врагам, фашисты только и ждут, чтобы все мы перессорились между собой, забыли о бдительности, и тогда они нападут, а защищать нас, ваших родителей, будет некому. Так, значит, Ермаков за фашистов? Ермаков усмехнулся вначале, но после стал бледен.

В общем, как бы там ни было, но жилось бы Анне куда спокойнее, дружи ее Вадька с кем-нибудь другим! Немножко успокаивало, что и Сергей не видел в этой дружбе ничего опасного, а Вадьку-то, наверное, понял, если сумел завоевать его расположение. Правда, это было давно, три с лишним года назад, но вот не забыл же Вадька дядю Сережу.

Анна взглянула на часы — почти давно уже лежала в ящике, а она вон когда только вспомнила! Не значит ли это, что сегодня письмо непременно будет? А то «бот» и так уже грозитя вовсе на зиму перевести сентябрьский ее отпуск, поскольку сентябрь кончается, а она оттягивает да оттягивает, из графика выбилась.

Она рано утром несла тогда с рынка ведро смородины в одной руке и сетку с помидорами — в другой. Остановилась переменить ручки, а сзади выступил человек — молодой мужчина в белой сорочке — и предложил:

— Разрешите помочь?

Анна хотела отказать, а сама кивнула, — согласилась, но поняла это, лишь когда он взялся за ведро. Сетку с помидорами она себе оставила. Пошли.

Этот человек понравился сразу, и не тем, конечно, что помощь свою предложил — молодым да красивым ее предлагают гораздо чаще, чем тем, кому действительно нужно помочь, а Анна была и молода еще и, наверно, красива — потому хотя бы, что молода. Итак, понравился, а этого с нею уже давно не случалось: чтобы так вот, с ходу, почувствовать расположение к кому-то и интерес. Почему? Но кто знает определенно действие механизма симпатий-антипатий, возникших вдруг к совершенно незнакомому человеку? Бывает, словом не перемолвишься, а уже что-то связывает.

Они оба состорожничали. У каждого имелись на то собственные причины, хотя, может быть, они, эти причины, были одинаковы. То есть даже наверное так: оба боялись одного и того же, поэтому и обставились всякими условиями, застраховались всякими «если». Но кто может возразить, что так было хуже, чем как-нибудь иначе? Говорят в народе: загад не бывает богат. А они загадали. Назло пословицам. Исполнилось или не исполнилось? И опять же — вроде да, хотя вроде бы и нет.

Анна в ту первую их встречу ничего не загадывала: ну помог донести тяжелое ведро и помог, ну понравился да и понравился, мало ли вокруг таких, а если сразу же и выводы какие-то делать, надежды выстраивать, то не слишком ли роскошно это — надеяться по пустякам, а

по-крупному потом разочаровываться? Поэтому, когда он спросил будто бы случайно, замужем ли она, Анна сразу нашла к чему прицепиться: все они такие, только одно и интересно им, этому тоже, фи. И сразу ответила твердо, что да, замужем.

— Отчего же сами таскаете ведра? — усмехнулся он. — Вроде мужское это дело.

— Муж спит. С ночной он, — так же, не задумываясь, ответила она. — Хотели покупать завтра, да у меня время свободное именно сейчас, вот и решила, — более подробно, чем нужно, ответила и сама поняла это. Наверно, понял и он.

— Понятно, — сказал. — А как ваше имя?

— Зачем?

— Когда человек нравится, всегда хочется знать имя.

— Уж будто бы! — засмеялась Анна. Однако имени не назвала, вдруг не захотев, чтобы и у этого прохожего при хотя бы и миолетном воспоминании о ней возникли какие-нибудь нежелательные ассоциации.

Это брат Николай, подпив, любил порассуждать на тему ее гордого имени.

— Все хорошо, — говаривал, — только имечко тебе классики подпортили. Как познакомишься с кем, так и возникнет у него по ассоциации мыслишка: «Анна на шее» — он и заколеблется. Или: а вдруг под поезд надумает броситься? Еще хуже.

Этот человек не заколебался. И привел его в дом Вадька, с которым тот сумел — все вызнал, все высмотрел — познакомиться во дворе. Вадьке он тоже понравился, прохожий, и ему даже захотелось похвастаться своей коллекцией значков. Анна была дома.

— Ведь можно? — спросил ее Вадька.

Потом-то, когда он, нашушукавшись со своим гостем, который, кстати, никакого внимания не уделил тогда ей, проводил его и пригласил заходить еще, Анна задала перцу: что это значит — уличные знакомства неизвестно с кем, да еще и в квартиру приглашать?! А сама уже поняла: так надо было, так и случилось. Она ушла, но ее догнали. Тогда она остановилась и сказала:

— Друзья моего сына — мои друзья.

Тем летом он приезжал в отпуск — помочь своей сестре перебраться в другой город.

И они с Анной загадали: если придет она к поезду, когда зимой он будет проезжать здесь, возвращаясь из командировки, все образуется счастливо. Если не придет — значит, она передумала.

Почему-то им и в голову не пришло, что могут возникнуть какие-нибудь непредвиденные препятствия, а они возникли. Может быть, так на многое они загадывали, что сюда, в условие это, входило также и устранение любых помех, точнее — гарантия от них, потому-то они и не оговорили их?

Она не пришла к поезду. Она знала, что поедет он лишь через месяц еще, но все равно не хотела соглашаться на путевку в дом отдыха. Так не хотела почему-то, что взяла да и согласилась.

Телеграмма ждала ее на телеграфе, а в двери торчала записка о том, что телеграмма ждет на телеграфе. «Еду к тебе. Встречай».

Причина была уважительная, причем двойная: ее дом отдыха и его преждевременный возврат. Но на то, наверное, и загадывают, чтобы всякие «но» обойти, а если не получилось, то и не сбылось. Глупо? Глупо, да так уж вышло.

Письма не было. И сейчас письма не было. Газеты, журнал «Наш современник», но не письмо....

— Филатова, значит, так: если не пойдете теперь, переносу отпуск на декабрь. Сколько же тянуть? График у меня не резиновый.

— Как хотите, — сказала Анна в телефонную трубку, не слыша себя. — Декабрь так декабрь.

— Филатова, три дня последнего срока!

Кобзев от печи показывал два пальца, и она переключила на щите регулятор на вторую ступень, двести пять вольт.

На второй печи обгорели электроды, и сталевар их наращивал, взобравшись наверх. Третью плавку к концу смены уже не закончить.

В трещины и выбоины стеклянных перегородок пульта с первой печи вползал белый дым — плавил легированную сталь, но Анну это на сей раз не подзарядило добавочной энергией, и она не сняла телефонной трубки, не набрала номера начальника цеха и не пригласила того к себе в пульт понюхать этой белой гари. Не потому вовсе, что боялась надоесть — это не новость: уже надоела, а вот опала внутренне, как опадает, к примеру, под дождем картонная коробка. Сначала еще держит форму, а потом расплывается. Сначала держишь свою форму, а потом устаешь, так, без видимых вроде причин, и пропадает интерес к себе, и пропадает интерес ко всему остальному.

Вообще не Анне бы высиживать тут монотонные часы душевных смен, когда голова не занята и руки тоже мало. Но за монотонность через каждые четыре дня сорок восемь часов полагалось выходных, да ночные смены, а Вадька рос, и выходного времени, дневного требовалось все больше: мальчишка же. Денег тоже. Правда, не намного больше получала она здесь, чем на прежней должности — копировальщицы, но тогда и квартиры все же не было, у мамы жили, без квартплаты. То есть квартиры своей нет и теперь, да хоть чужая, хоть временно — завербовалась знакомая семья на три года, в тундру уехала — и то счастье.

Но и случайно попав в литейный цех, Анна почувствовала: ей здесь нравится. Нет, не на пульте — тут нравится нечему, — а именно в цехе. Может быть, атавистическая тяга к огню? Ну и, пожалуй, самоуважение за причастность к большому делу: как-никак, сталь плавим, основу основ промышленности. А потом, англичане мудро заметили: если не можешь делать того, что тебе нравится, так пусть нравится то, что делаешь. В этом тоже, впрочем, должно повезти. Анне повезло. Разумеется, на пульте долго задерживаться она не намерена — не дольше чем пока в техникуме учиться. Она ж и в техникум поступила, да,

решила стариной тряхнуть. В местный механический. С Вадькой теперь легче стало: не хочется уроки делать? Мне тоже, да что поделаешь, надо. Ну-ка, что получил? Эх ты, а вот у мамки твоей «пять» по математике. «Ага-а, — тянул Вадька, — ты и в школе хорошо училась, и в институте два года».

Замигала красная лампочка на панели: это Кобзев подавал знак взять телефонную трубку — при таком треске разве услышишь звонок? — и велел включить печь на третью ступень, на 180 вольт, и прежде нужно было отвести свод над печью для загрузки флюсов — раскисление. А тут уже следы в оба глаза, как бы вскипа не получилось, как бы вовремя заметить знаки, не промедлить. А тут первая печь подоспела с выпуском, и Анна кинулась ко второму пульту, уж с отключением и вовсе медлить нельзя, потому что подручный сталевара может попасть под ток при пробивке лётки или печь не наклонится: пневматика. Так что на время оцепенение было нарушено, и таким минутам Анна радовалась, особенно сейчас.

А потом Люся с земледелки пришла заказ принимать: что из буфета принести и спросить, будут ли картошку печь. И Вася за стеклом подавал какие-то знаки, соорив умильную физиономию. Анна досадливо махнула рукой — не мельтешишь, дескать — и отвернулась. Хорошо, хоть на пульт вламываться перестал. А то все обниматься лез. Зажмурится для храбрости и лезет. Васька-кот. Ну, отучился. Правда, с недоумением.

А она устала. От внимания тоже ведь устают, тем более от такого вот, корыстного.

— Мужики, проводите хоть! — упрашивала, например, Леночка Битова. — Боюсь. У нас в переулке глушь первобытная.

— Жена узнает — не оберешься горя, — отшучивался тот же Вася. — И мне, и тебе достанется.

— Свой муж пусть встречает, — отвечали другие.

— Мужики, да он на курорте!

Ну да, кому охота крюка давать ночью. А вот Анну провожать сами напрашивались. Она не отказывается, нет, только старается не смотреть в их лица — появляется в них что-то неприятно-суетливое. На улице она спрашивает:

— Как, автобус подождет или на своих двоих?

— Зачем автобус? — бодро откликается провожатый.

Анна и довольна: после многоградусной цеховой жары свежему воздуху радуешься при любой погоде.

— Далеко, — предупреждает она. — Думай, пока не поздно.

Ну, идут, разговаривают — все нормально. У подъезда Анна сердечно благодарит за внимание и желает спокойной ночи.

— Да погоди, — берется за руку провожатый. — Так уж и сразу? Дай хоть обогреюсь в подъезде.

— Обогревайся, мне-то что? — и хлоп дверью.

В другой раз он уже ушмыгивает с глаз подальше, но что там наговорит на расспросы тех, кто видел, как пошли вместе? Увы, придется лишний раз убеждаться, что сильная-то половина рода челове-

ского зачастую весьма слаба по части уязвленного самолюбия, да и по части многого другого. Одиноким женщинам это куда как более известно, чем женщинам, так сказать, благополучным. И не потому вовсе, что пришлось развестись, что по одному судят об остальных, — зачем же? Просто чаще случаются познавательные ситуации, ведь все заботы по жизни ложатся уже на одни плечи, контактов, стало быть, больше. И даже какой-нибудь Вася уже смеет так вот, запросто, без лишних заходов, разлететься с объятиями.

— А чего? — обозлился. — Не живая ты, что ли? Одна, думаю, переживает.

— А ты спросил, что сама-то я думаю? Нуждаюсь ли в такой «жалости»? Да нравишься ли ты мне, наконец?

— В пятом классе, что ли? Нравишься, не нравишься...

В том-то и дело, что подобное «васями» расценивалось не иначе, как прихоть, еще, впрочем, простительная красивой женщине: не нравлюсь сейчас, понравлюсь потом, это не в девках гулять, когда сама выбираешь — теперь рада будь, когда тебя выберут, да и выберут ли еще, а если и «выберут», то уж, разумеется, не прими всерьез, не будь душой.

— Зачем вы так? — попробовал возразить Кравцов, но вяло получилось, беспомощно.

Кравцов это не Вася, и Анна на миг даже посочувствовала ему: шел человек с добрым намерением проводить, а нарвался на неприятность, мало ему колючего дожда за шиворот да хлюпки по грязи! Однако завелась пружинка на размот — и пока не раскрутится вся, не остановится. А началось-то всего-навсего с пустяка вроде: ну, из автобуса попридержал, да потом, через перекресток переходя, приобнял, да с бордюра когда переступали. Так, нечаянно словно, а ей хватило. Если бы еще не Кравцов.

— Валерий Николаевич, весна-то уже прошла, — улыбнулась она.

— Что? — не понял он, споткнувшись о ее реплику в середине совсем на другую тему разговора. — Вы в том смысле, что стар уже?

— В самом прямом смысле, Валерий Николаевич. Это только весной у лягушек просыпаются обнимательные рефлексy.

Он мог обидеться. Возможно, и обиделся. Но он нашел как ответить, и это получилось у него просто и доброжелательно.

— Извините, Аня, но, видно, так уж устроено: когда рядом красивая женщина, к ней хочется прикоснуться. Больше не буду.

Однако разговор смялся, а в Анне уже начала разматываться та пружинка. Кажется, надеялась на что-то? Надеялась. Что поймет хоть кто-нибудь, что разубедит? А в чем разубеждать-то? Сама понимаешь. Он и молчал.

И тоже ушмыгнул. Анна тогда — год назад это было — страшно досадовала на себя за свою разговорчивость. Хотя потому-то, может, и завелась, что не Вася же какой-нибудь, а Кравцов — человек порядочный. Вроде как за соломинку ухватилась. А он испугался?

Он — нет, не испугался. Через месяц примерно подошел в конце смены и деловито спросил:

— Могу ли проводить вас?

— Можете.

Она удивилась. Ей приятно было удивиться.

Так и стала возвращаться домой со второй смены и даже с третьей, утром, в сопровождении самого начальника смены. А что? Почти попутно. Ее ненавязчиво и просто разубеждали в неправоте: вот ведь нашелся же человек, которому просто нравится с нею беседовать. Беседовать и только-то. И это «и только-то» подтверждалось абсолютным безразличием к тому, заметят ли, не заметят его провожания.

Заметили, конечно. Зашептались. Секретарша Алла Викторовна, жена Кравцова, стала вздрагивать, когда видела ее, а глаза делались большими. Стареющая женщина с травленными перекисью локонами...

Это ж задохнуться можно, если вдуматься поглубже, как удивительно ordinarily соотнобразяют люди — во всяком случае, видимое большинство, — когда дело касается женщины и мужчины. Главное: непременно нужно что-то соотнобразять! Зато совсем не удивительно, что некоторые — тоже, может быть, большинство — в конце концов именно так и поступают, как нащепчут: все равно ведь сплетни ползут.

— Алла Викторовна, — остановила однажды Анна Кравцову, — мне нужно вам кое-что сказать.

Было это в коридоре, обе вышли из табельной, Анна чуть раньше, поджидала. Из формовочной рядом тупо бухало: набивали опои.

— Да вы не волнуйтесь, Алла Викторовна. Я заметила, что вы... не совсем обычно смотрите на меня. А ведь мы незнакомы.

Кравцова губы старалась держать спокойными, но им это не удавалось, слабым и беспомощным, и Анна заспешила, опасаясь, как бы Кравцова не расплакалась.

— Это все неправда, Алла Викторовна. Ваш муж — прекрасный человек, и вы об этом, конечно, знаете.

— Да, — кивнула Кравцова.

Анна хотела добавить еще, что Валерий Николаевич просто помогает ей своей дружбой, но слишком по-детски, вероятно, прозвучало бы это, да и люди мимо шагали, люди смотрели.

Дело к новому году близилось, и Кравцова, поуспокоив свои губы, улыбнулась и пожелала Анне в новом году исполнения всех желаний.

— Спасибо, — сказала Анна. — Значит, мой Вадька не испортится. Самое главное желание!

Кравцова кивнула, уже совсем спокойно улыбнулась: это так понятно матери. И это же послужило самым главным, пожалуй, доводом Анниной искренности: когда женщина женщине говорит о своем ребенке — что между ними может быть ложного?

«Упаси бог — обидеть таких», — подумала тогда Анна. И вообще, вообще.

— Валерий Николаевич, кончаем эксперимент.

Новый год уже отсверкал, отсыпал сколько надо торжественного крупного снега на предпраздничные ожидания, уже и сдули жесткие ветры тот мягкий осторожный снег, и надежды, и предчувствия, которые так волнуют именно в новогодье, сдулись вместе с тем снегом.

Обыденность и трезвость, казалось, навечно пришли в этот мир с этой вечной зимой, и лампочку под жестяным колпаком над подъездной дверью ее дома тоже вечно будет раскачивать ветер.

— Кончаем эксперимент,— повторила Анна.

— Чей? — спросил он.

— Ваш. Вы меня убедили. Почти. Больше не пойду с вами.

Он стоял, привалясь к стене, и руки в карманах пальто, голова опущена. Так прочно стоял, что Анне показалось: скроется она за дверью, а он так и останется тут, и снег заметет его большую, слегка грузную фигуру. Поэтому она колебалась и не дергала на себя дверную скобу, лишь сжала ее, да так крепко, что лед настывшего железа прожиг варешку. Вот бы и в самом деле обогреться в подъезде!

На Анну такое вдруг состояние нашло, наваждение прямо, когда скажешь и сделаешь все, что в голову вступит, когда все это,— может быть, нельзя, а может быть, и можно. Хорошо, что Кравцов сам заговорил.

— Почему? — спросил он. Точнее, просто сказал. Но так нескоро, что она забыла уже, о чем он, и ответила глупостью, а то и чем похуже.

— Валерий Николаевич, ваша жена в Новый год пожелала мне исполнения всех желаний. А вдруг мое желание — это вы? Я бы на ее месте поостереглась так желать, я суеверная.

— Я был бы счастлив, — сказал он, и тут рука ее на дверной скобе дернулась, непроизвольно, должно быть, и слабо, но это движение подтолкнуло ее, вернуло к прожигающему холоду железа, к скрипу жестяного колпака над мотающейся на ветру лампочкой — движение руки повторилось, но уже сильно, одно мгновение — и теплота подъезда омыла ее лицо, ознобом разбежалась по телу.

Пришлось убедиться и в том еще, как зыбок все-таки человек в своих желаниях, как неустойчив в своих ощущениях, как часто оживают они не по ожиданию, а по неведомым рассудку законам. То есть рассудить-то можно, вероятно, все, разложить по полочкам, да только суть от того не меняется: иногда не спохватись вовремя — и такого натворишь, что сам не поверишь после. Все перемешивается. А не поверишь, потому что, в общем-то, преходяще это, сиюминутно, хотя, с другой стороны, и жизнь-то из мимолетностей складывается, они могут оказаться совсем не мелочью, эти мимолетности. Как же знать заранее, сию минуту, что преходяще, что нет? Этот ведь момент, это вот желание, это чувство — это же и есть тоже жизнь.

Но Анна, стоя под горячим душем в ванной, чувствовала тогда лишь одно: тепло, тепло. Это потом она огорчится: как же так? Вот и доверяй себе. Стало быть, у Сергея были основания усомниться? Разные люди, а ты — одна, но в общем-то все одинаково — разве не горько? И второе: стало быть, можно просто привыкнуть?

Обо всем таком думалось, конечно, и раньше, да и спорилось неоднократно, но чтобы в такие вот «ножницы» самой угодить — этого не было еще. Когда ушла от мужа с махоньким Вадькой, до того ли вообще было, до себя ли? Она когда еще институт бросала «по семейным обстоятельствам» — уже отказалась от себя, а тут, уйдя-то, на завод

устроилась, то есть куда уж устроили дядя, а куда, ей все равно было, все равно не имелось здесь того, что хоть поблизости бы к выбранной после школы специальности, учиться которой и поступала в институт. Ну, в обеденный перерыв — по магазинам, после работы — за сыном в сад, вечер загружен. Да и жизнь, говоря откровенно, только и имела цену из-за Вадьки. Поняла это и успокоилась. В конце концов, мало разве стоит ее жизнь?

Заимелись подружки, такие же разведенки или брошенки, но ненадолго: не уживалась Анна с ними, расходились интересы. Однажды пошли в ресторан — Зинаида, Алка и она. Алка сразу же захлопотала, чтобы одним не просидеть, и с первым же, кто пригласил танцевать, после и за столик его удалилась, призывно оглядываясь на Анну с Зинаидой. Их тоже пригласили. Офицеры. А Анна злая уже была: ничего себе подружка, пришли вместе, а уходить порознь? Злило Зинаидино жалкое лицо и то, с какой готовностью поднялась из-за стола к офицеру. В конце концов, отдыхать они сюда явились или одиночество свое показывать?

— Вам не нравится здесь? — поинтересовался партнер, ведя ее в танце легко и уверенно.

— Да что хорошего?

— Но ведь вы — здесь.

— А так, из солидарности.

— Вы знаете, — спрашивает потом, — о чем я сейчас думаю?

— Я не телепат.

— А думаю я, как бы мне достойно от своей компании...

— Зачем? — оборвала она.

— Но ведь вы одни здесь, кажется?

— С подругами.

— Я видел их, — тонко улыбнулся офицер. — Они уже не с вами. Я провожу вас потом?

— А разве это обязательно?

Он улыбнулся снова. Может быть, такой ответ входил в его компетентное представление о женщинах? Ресторанных, распаляла себя Анна. Такой ответ, как нечто необязательное, но приличия ради, игры ради.

— Нет, не проводите, — уже определенно сказала Анна. — Я не хочу.

— Не нравлюсь?

— Не нравитесь.

Неправда: внешне он ей понравился. Но эта уверенность в ее зависимости: позови ее — и побежит... Или ей показалось?

А Зинаида угощалась коньяком.

— Мы договаривались... — нахмурилась Анна.

— Что? — рассеянно засмеялась Зинаида, совсем не тем смехом, что обычно. — Ах, ты про сухое вино? Ну, что сухое... Строгая она у нас! — засмеялась мужчинам. — Анечка, познакомься, это Александр.

Анна кивнула и отвернулась к залу. Тот, с кем танцевала, стоял возле приглашения, видимо, ждал.

— Садись же, Костя, — пригласил Александр.

Анна раскрыла сумочку, вынула монету и, встав, пошла к ящику музыкального автомата. Возвращалась, слегка улыбаясь, хотя в обычное время вовсе не улыбаться хотелось ей под эту песню. Вообще, не для принародного слушания она. Но пойте, Магомаев, пусть ваша песня докричится до каждого тут.

Назову не по имени-отчеству,
Назову и светлей и торжественней:
Обращаюсь к вам, ваше высочество
Одиночество женщины.

Зинаида посмотрела на Анну и заплакала. Анна не знала, что именно так подействует. Господи, этот Александр подумает еще, что Зинаида истеричка!

— Зина, что с тобой? Выпей, на-ка, — совала ей минеральной в фужере. — Не нужно было ей коньяку, — бормотала.

Позабудь это время обидное,
Где тебе словно было завещано
Ожидать, как награду, любимого,
Потому что ты — женщина.
Может, это мужская вина...

Ах, выключить бы! Тоже судья выискалась!

— Зина!

Слава богу, быстро это кончилось, кавалеры не успели испугаться. Но Аннин партнер встал из-за стола, наклонился к ее руке и поцеловал, нарушив наклоном порядок своей темной шевелюры.

— Извините, должен вас покинуть: зовут.

— Кто? — удивился Александр. — Да Акимушкин сам...

Но тот уже уходил. Александр пожал плечами, а Анна сказала:

— Зина, мне пора. А тебе? Или останешься?

Зинаида растерянно захлопала чуть подплывшими ресницами, оглянувшись на Александра.

— Всего доброго, — сказала им Анна.

...Лучше быть уж одной одинокою,
Чем вдвоем в одиночестве...

Н-да, не для ресторана песня, как это администрация проморгала? А может быть, специально кто-нибудь мудрый да трезвый додумался?

— И чего сбрындил? — возмущалась потом Алка. — Сама не знаешь, чего хочешь.

— Зато, чего не хочу, знаю.

— Например?

— Например, побираться.

— Ах да, «счастья хочешь ты только высокого, а иного тебе и не хочется!» А мы же с Зинкой побирашки!

С Алкой они рассорились вдребезги. Зинаиду жалко было, да и с ней не сумела, перетянула Алка.

— Анюточка, жизнь-то одна, и проходит,— горячо шептала Зинаида, косясь на кухонную дверь, где скрылась психанувшая Алка,— Анюточка, ну, чего ждать, чего ждать, скажи мне? Даже ты, такая вон яркая, и то одна, так чего же дождусь я-то? Да фиг с маслом. На людях хоть не так тошно. Не осуждай, Анюточка!

— Я не осуждаю. С какого бы права?

— Да нет, вообще — не осуждаешь, а?

— Нет.

Правда, не осуждала. Каждый к обстоятельствам приспосабливается как может. А захочешь ли приспосабливаться, захочешь ли побираться (хоть немного, да мое) — это уже другой вопрос. Да черт побери их, эти обстоятельства! Да себе ведь дороже. Неужели уважение к себе менее важно, чем они? Да и вообще, что они такое, обстоятельства? Фикция да и только. Ну, накатывалась хандра, ну, удовлетворение собою в победе над такими «обстоятельствами» горчинкой отдавало — так и что?

— За счастье свое бороться нужно,— вздыхает мама.

Что еще может она сказать?

— Как же за него бороться, объясни, сделай милость! Всю жизнь не понимаю.

— А ты не заводись, не заводись сразу... Так бороться, чтобы держать в руках то, что имеешь.

— И никому не отдавать?

— Колкая ты стала, Аня. Чего злиться, когда сама упускаешь время.

— Какое время? Работаю. Учусь даже на старости лет! Сына воспитываю.

— Сын — что? Вырастет и уйдет, а ты с чем останешься?

— Да неужели, мамочка, за целую-то жизнь не наживу, с чем остаться?

Анне всегда неприятны такие разговоры. С матерями, у которых дочери, так вот и бывает иногда: пока дочь девчонка, все женихи — опасность, перебирают их, как привереды, а останется дочь одна — так хоть за кого спихнуть согласны, лишь бы — замужем, лишь бы «как у людей». Вот пришла же выведать про этого, про «принципа».

— Мне Коля сказал, что ты...

— Да, выгнала.

— Но выпил-то для храбрости. Что ж тут особо худого? Мы бы, может, тоже выпивали для храбрости, прежде чем с тобой о таком говорить, да уж привыкли, все ж таки не вытолкаешь, надеюсь.

— Что, так он вам всем понравился? — посочувствовала Анна.

— Да как сказать... — мялась мать, стараясь не замечать дочериного настроения. — Но все ж человек степенный, тихий вроде. Машина своя, — не к месту добавила она.

— С машиной мне и жить?

И мать вздохнула.

— Ой, не знаю уж, как и говорить с тобой! Ты хоть скажи, чем он не по нраву тебе?

— Неразворотный он какой-то, — заулыбалась Анна, борясь, однако, с искушением побежать на кухню да открутить оба крана до отказа.

— Нужно, чтобы дырку на боку крутил? — не поняла мать.

— Зачем же? Хватило одного.

— Одного... Да и Борис не со зла крутил — ревновал.

— Не оценила! — развела руками Анна, и по голосу ее мать наконец-то поняла, что довольно, предел. А уж о Вадькином дяде Сереже каком-то загадочном она и поминать боялась, пропади он пропадом, замутил только жизнь Анютину.

«Гордыня» — тосковала мать. Трудно ей с Анной было. Нет, она бы так не сумела — жить одной, да еще с задранной головой. Тридцать два, между прочим, уже наступало. Что ж, если и покориться когда, не без того, ведь и перед той же Анной не унижаются разве? Еще и сама унизит. А себя — нет: гордыня...

А гордые тоже унижаются. Перед любимыми. И — легко, открыто. Но тогда только, если еще не потеряна надежда на взаимность, вернее, если они, гордые, предполагают взаимность. И вообще это унижение — особенное ведь, не правда ли? Собственно, не то совсем слово. Да, конечно, не то! Скорее, это — доверие, именно оно. Вот как сближаются иногда понятия...

В ту — по-за ту, если точно, — зиму Сергей, кроме телеграммы, прислал и письмо. Нескоро, и ой как нескоро. А она ведь даже адреса его не знала, не спрашивала: зачем? Вот поедет обратно... Так храбро было загадано.

Она знала, что у него жена, но не живет с нею и не вернется к ней. А это ли не самое ненадежное? Мало ли как сложится: то так, то этак — и все изменилось. Она понимала.

Но страшное то напряжение, когда ждешь и не ждешь, разрешилось все-таки: прислал письмо. Сухое и короткое. Если, дескать, она теперь же не приедет, то уже все, конец определенно. Если приедет, то вот билет на самолет от Новосибирска, вот адрес гостиницы, в которой с такого-то числа забронирован ей номер.

Письмо было ценное, с вручением в руки адресата и с уведомлением отправителю. Дырочки на билете просквозили число немыслимо близкое. Анне с перепугу показалось даже, что оно сегодняшнее, даже по календарю пришлось свериться.

Он специально сделал так, чтобы времени на взвешивание не осталось? Специально не подумал о том даже, что не птица же вольная она: снялась и полетела? А отпроситься у начальства, а чем объяснить? Такого Сергея она не знала. Этот — пугал.

Назавтра электричка мчала ее в Новосибирск. Анна сидела, прикрыв глаза веками, и старалась думать о чем угодно, только не о том, зачем едет, хотя, вероятно, именно об этом ей и надлежало думать, и именно сейчас, пока не поздно. Впрочем, до самого последнего мгновения, до того, как взошла по самолетному трапу и пристегнулась в мяг-

ком кресле ремнями, она все еще не верила, что решится. И даже когда самолет, слегка покачиваясь, побежал по бетонной полосе на взлет. Чувство, близкое к тому, какое испытывает насильно ведомый, но все-таки не верящий в насилие... Чувство странное, потому как ее-то ни к чему не принуждали, выбор принадлежал ей.

И что же она выбрала?

Сергей встречал. Не было слов, улыбок — все деловито и буднично: и принятие из ее рук чемоданчика, и отворенная дверца такси, и езда по сумеречному уже, низкорослому, привольно расположенному северному городу. Впрочем, только это Анна и заметила в городе.

Она не понимала, почему, но знала уже, что прилетела напрасно. Тесно как-то ей стало, едва увидела Сергея. Почему все произошло именно так? Может быть, из-за слишком затянувшегося того ожидания перед письмом? Может быть, сил хватило ровно на столько, чтобы дождаться этого письма? Да и — такого ли письма?

— Я приду утром, — сказал он в вестибюле гостиницы, когда толстая администратор оформляла Аннины бумаги. И лишь вынимая откуда-то из-под шарфа мятые гвоздички, улыбнулся, но устало и мимо-летно, не глядя ей в лицо.

И вот что еще странно: они не разговаривали, встретясь, даже не поздоровались почему-то, они молчали, если не считать трех слов: «Я приду утром», но ей долго думалось: отчего же «так» произошло? Будто бы они долго говорили — и ни до чего не договорились. Будто бы столько тяжелых и усталых слов сказано, что на утро-то уже ничего не осталось.

Наконец, Анна догадалась, осознала, что никакого разговора еще не было, и ей сразу стало легче, но всего лишь на какие-то мгновения — ощущение чего-то уже состоявшегося не отпускало. «Что же я-то?» — всполыхивала мысль. «Да ничего ведь», — отвечала себе тотчас. Ни даже трех слов не произнесла, ни одного даже. Неужели?..

Затянувшаяся ночь лишь усилила то ощущение нереальности положения, двойственности, тесноты этого ощущения. Разобраться в нем Анна не сумела, но во всей непонятности той один просвет, точнее — одна определенность все ж таки имелась: значит, что-то ненормально, чего-то не хватает, а какая, в общем-то, разница, чего именно не хватает?

Гвоздики вообще трудно сохранить, а эти, Сергеевы, к тому ж и холодом, видимо, прихватило, и стояли они в стакане вялые, мятые. А к следующему дню подсохли: на живых стеблях засохшие гвоздики — выцветшие, истонченные, словно бумажные.

— Я в дом отдыха уезжала, — говорила Анна. — Потом я написала тебе. До востребования. Ни адреса, ни отчества... Ты получил?

— Да.

Что он ей предлагал? Уже оформленный свой развод и себя. Но немедленно. То есть ей рассчитаться и вернуться сюда.

— А Вадька? — спросила она.

— Летом заберем. Думаю, не стоит срывать его посреди учебного года?

— Да, да, — закивала она. — А жить где мы будем?

— Так ты согласна?

Она молчала.

— Думай. Вечером приду.

Но и вечером она молчала.

— Ты слишком долго выбираешь между «да» и «нет». В таком случае всегда получается «нет». Считай, что предложения не было. Так я не хочу.

— Но я ведь, между прочим, приехала, — сказала она.

— Да. Этого я не забуду.

— Неужели мне нельзя подумать? Что за спешка?

— Думай, мешать не стану.

И ушел.

Назавтра она, сдавая ключ администратору, просила:

— Будьте добры, если обо мне спросят, скажите, что я вышла куда-то, но не выписалась совсем.

— Кому сказать? — насторожилась администраторша.

— Мужчине. Знаете, пальто с поясом, серая шапка, — залепетала Анна, чувствуя себя беспомощной абсолютно. — И глаза серые.

— Глаза, — бормотнула, усмехнувшись, та. — Только мне и вглядываться, какие у них глаза. Это, значит, чтобы не догонял?

— Да, — покраснела Анна. — До свидания, спасибо.

— Ладно, — согласились ей вдогонку.

Возможно, из-за давности, но разрыв даже с мужем Анне не представлялся и отдаленно похожим по силе переживаний на то, что навалилось на нее теперь. Возможно, разрыв с мужем вовсе и не был для нее такой уж драмой.

Анна записалась в кружок вязания при заводском Доме культуры, каждое воскресенье отправлялась с Вадькой на лыжную прогулку, ни одного спектакля не пропустила, поступила в техникум. Никогда еще столько не успевала, сколько теперь.

Но дел и всех занятий не хватало-таки, они, решенные одно за другим, словно бумажные чеки в магазине — стальной иглой на подставке, протыкались, пронзались иглой того ощущения, что все это — в пустоте. Игла была бесконечна.

Она затевала генеральную уборку, причем всегда внезапно, не готовясь, не раздумывая, но не хватало энергии закончить ее. Опускалась на стул и сидела час, два посреди разгрома, пустая и тихая, не желая ничего и даже, казалось, не думая ни о чем, пока не врывался Вадька.

— Мам, шестеренка сносилась? — весело подмигивал Вадька.

Вместе и заканчивали тогда, причем это он, сын, уже генералил, а Анна радостно и покорно ему подчинялась.

За «сношенные шестеренки» она поначалу рассердилась, все эти вольности непременно же от Ермакова Сашки, и Вадька был отруган, но потом и сама так же подсмеивалась над сыном, когда у того не хватало терпения что-либо начатое закончить.

И Кравцов. В общем-то, поспешила она огорчиться: все-таки сов-

сем иное тут с нею было, Кравцов появился вовремя. В конце-то концов, свет клином на одном чувстве не сходится, а если оно к тому ж и так угнетающе, должны же включиться какие-то защитные рефлексy. Анне приятно было нравиться Кравцову — она и самое себя уже терпела повеселее. Человек — существо слабое, ему необходимо кому-то не только кровно-родному нравиться, как и самому в ком-то нуждаться; и чем больше таких людей, тем он сильнее. Человек — существо сильное, ему достаточно даже одного сознания: есть такие люди — и он жив, он бодр, не бумажная коробка, дождем прихлопнутая.

Говорят, жизнь «полосата». Жизнь есть просто то, что есть: дыхание — вдох-выдох, вдох-выдох. Вдохнул — живешь, выдохнул — опадаешь. Второй период Анну снова настиг, и так, что уже не хочется вот снимать трубку да приглашать начальника цеха понюхать в пульте белой гари.

Зато энергетик пришагал сам.

— Филатова, я слышал, письмо вы сочинили в ЦК профсоюза? — закричал обеспокоенно.

— Сочинили! — ответила Анна, хотя еще не сочинили.

— Да вы и так получаете не по закону!

— А мы не о деньгах. Да хоть бы и деньги: почему это не по закону?

Энергетик, она знала, имел в виду разряд пультовщиков этих двух печей. Электропечь емкостью до двенадцати тонн подходила только под первый разряд, а тут емкость всего восемь тонн, разряд же у них второй, однако...

— Сами бы, кто законы сочиняет, посидели тут! — продолжала кричать Анна. — Ну, если пульт изолирован, то да, пусть по первому разряду, но в соседнем же цехе печь на двенадцать тонн, пульт изолирован, а премия выше почему-то!

Да что он, сам не знает? Все знает и понимает. Тогда чего медлит? Может быть, рассчитывает, что письмо в ЦК не отправлено еще? Ну, так отправим, и непременно. Ведь сколько можно? Да на всех заводах пультовщиками работают электрики, лишь у них пультовщик это пультовщик, и не больше. Чуть неисправность какая, беги за электриком, сама хоть бы и понимала что в этих проводах да кнопках, все равно нет права к ним прикасаться. А электрика еще найди да упроси, у него всегда работы хватает. Печь, между прочим, останавливается. С тем же Виктором Константинычем не раз доводилось беседовать на эту тему.

— Электрик же не пойдет сюда на оклад в сто двадцать рублей, — так прямо и резонно отвечал.

— То-то и оно! И нас не обучаете электротехнике — разряды тогда повысятся!

— Не нами заведено, Филатова. Завод наш, кстати, не металлургический, а машиностроительный.

— Странное дело! Ну, хорошо, тогда почему бы хоть не вставить

жаропрочные стекла, не подвести второй потолок под шины, почему не изолировать их или повыше не поднять? Спекаемся ведь!

Но все это — реконструкция, простои, стало быть, и если менять, то ведь чистая электролитическая медь для изоляции — дорого слишком.

А еще — нет халатов, не положено. Распредам положены, а им — нет! Моторы от печей — в подвале, масло накапывает, лезешь туда, в преисподнюю, раз в неделю протирать пол и мыть; как чушка, на свет божий оттуда выползаешь — и вот, не положено.

А молоко? Ну, пусть им, пультавщикам, не положено, но почему и сталеварам тоже? На вагранке дают, а на электропечах — не дают. Разве другим жаром их жарит, другим дымом от присадок дышат?

Плохо, ушел из цеха Кравцов, а то бы помог.

— Не ты первая, — сказали Анне. — Находились и до тебя такие. Привыкнешь.

— Ну, тогда так тому и быть: разрешаю вам пустить меня в пере-
плавку! — смеялась она. — Если привыкну.

Сталевары всегда так шутят: вялая, недовольная, хмурая ли явится на работу, они сразу заметят:

— Что-то, братцы, испортилась наша Анна, не та фигура. Не переплавить ли ее заново?

— Вы начальство лучше переплавьте!

Впрочем, сейчас и ее можно. С молибденовой присадкой — для прочности.

А к почтовому ящику подходила уже спокойно, заранее настроясь, что и нынче ничего хорошего он не выдаст ей. Если же почта оказывалась уже выбранной, она не спрашивала у Вадьки, нет ли писем. Сергей и Вадьке давно не писал. Их-то связь никогда надолго не прерывалась, и после той ее скоропалительно-непонятной поездки к Сергею — тоже: Сергей время от времени по-прежнему слал Вадьке бандероли со значками из самых разных городов. Вероятно, так и колесит в командировках, думала Анна, тайком разглядывая почтовые штемпеля на обертках. Иногда его следы терялись. Как и прошлым летом.

Тем летом, в августе, Анна с Вадькой гостили в Москве у тетки. Давно было пора свозить Вадьку куда-нибудь помимо пионерского лагеря. Ну, и выбрались. Впечатлений, конечно, уйма. А мама по магазинам — столичными вещами запастись. Из-за этих-то вещей, из-за багажа Анна и застряла, не успела вовремя его оформить, а тут и с билетами припозднились, август же на исходе, Вадьке в школу спешить — ну и поехали он и бабка одни. Анна уезжала позже.

Что такое случайность?

Наука случайностью, кстати, тоже занимается, и вот одним из принципов существования этой таинственной штуки является лишь ограниченность человеческих возможностей. (Имеются в виду возможности, позволяющие точно измерить причины. Измерить!).

Анна выходила из санпункта Ярославского вокзала, куда отвела

женщину — дурно ей стало в очереди к кассе, и намерена была вернуться к тетке или, что еще лучше, съездить последний разок в Третьяковку.

На вокзалах в людей не вглядываешься, все мимо и мимо, разве когда стоишь часами, а напротив тоже такие же ждущие, а смотреть некуда больше, устают глаза на пестроте, вот и выберут что-либо статичное.

Анна вышла и остановилась, еще держась за притворяемую дубовую дверь, ориентируясь, в какую же сторону ей двинуться в таком людском муравейнике. И увидела.

Он стоял почти рядом, прикуривал от зажигалки, и пухлый портфель стиснут ногами. Сейчас опустит зажигалку в карман, поднимет портфель и пойдет дальше, а она не сможет даже окликнуть, потому что не знает, надо ли окликать и вообще хватит ли сил это сделать.

Потом он говорил, что почувствовал, как словно бы толкнули его в затылок. Он оглянулся, чтобы проверить свое ощущение, и тут ее заслонили прохожие, но он зачем-то переждал, а когда пространство между ними освободилось, он ее увидел. Вернее, ее глаза. Черные, кричащие. В первое мгновение он и не осознал даже, чьи это глаза, но уже, не отрываясь взглядом от них, наклонился за портфелем, а когда шагнул навстречу, то и увидел, что это — она, Анна.

А она совсем не запомнила их первых слов, лишь осталось после тех первых, долгих, как сон, мгновений узнавания ощущение стремительности: стоит она все там же, у дубовой двери, но уже с его портфелем, а он убежал куда-то, сдавать ее билет, кажется. Потом они на метро едут по вокзалам, но пассажиров полно всюду — и в помещениях тех вокзалов, и прямо на улице.

— Тогда на Рижский, — говорит он.

И на Рижском они остаются, тут пустынно по сравнению с остальными вокзалами, да и само его зеленоватое здание кажется игрушечным, домашним.

— Но у меня больше нет денег, это все, — наконец вспоминает Анна.

— У меня тоже, — и он исчезает, снова оставив сторожить свой портфель на ее чемодане. Она видит, как за его спиной сдвигаются трамвайные дверцы.

Железная низкая оградка — от здания вокзала до беленького домика санитарного пункта — уже прокаляется восходящим солнцем. Надо же, думает Анна, совсем не чувствуется осени, а она — через день.

Сергея нет долго, но это ничуть не волнует ее, и не потому как раз, что вещи оставлены: пустяк, вещи — но потому что сейчас ничего плохого уже не может случиться. Да, так вот наивно: не может, и все, потому что все остальное — мелочи при том главном, чем явилась эта невозможная встреча.

— Ты отправила телеграмму домой? — спросил он, вернувшись.

— Нет, — и пошла отбивать телеграмму, что задерживается до конца отпуска и пусть мама поживет пока с Вадькой.

Отныне она делала все, что велел он, и однажды отметила это: «Вот жизнь пошла: даже можно ни о чем не думать — за меня думают!» Это было ново и приятно ей.

Да и что ее-то заботы по сравнению с Сергеевыми? Вот ему нужно было в эти часы разрешить столько важнейших вопросов, да каких! — созвониться со своим институтом, выпросить отпуск без содержания на неделю хотя бы, найти у московских друзей деньги...

— И тебя отпустили?

— Я на весь переговорный пункт кричал, что сейчас решается вся моя жизнь и, если они этого не поймут...

А поезд «Латвия» их увозил — самый добрый поезд самого доброго вокзала.

— Но у меня нет теплых вещей, а погода там, по слухам, самая скверная.

— Вещи приобретем, — успокоил он.

— Долги пополам, — вставила она.

— А что касается погоды, — продолжал он, — она, я полагаю, вредничать не станет, чтобы понравиться тебе.

Однако уже в вагоне стало прохладно, и весьма ощутимо. Оттого, может быть, что солнце осталось где-то за поездом?

— «Снегири», — прочитала Анна мелькнувшую вывеску дачной станции. — Почему не «Снегири»? Разве не от снега, не от снегирей?

Их сосед по купе как уткнулся в газету «За рубежом», так и не отрывался, слава богу, от нее.

Ужинали они в вагон-ресторане, а когда вернулись, сосед спал на своей нижней полке.

— Вот и дождь, — сказала она. — Благо, хоть при плаще. Путешественница!

— Не горюй, — велел он.

Она и не горевала.

В Ригу прибыли рано утром, в темноте и в тумане нельзя было даже разглядеть что-либо. Мутные огни убегали, убегали и вдруг — начали приближаться, крупнеть, выстраиваться. Вот они остановились — то, оказывается, поезд остановился.

А электричка их уже ждала. Снова поехали. Светлело быстро, туман растворялся. В вагоне оказались те же самые, кого в ресторане видели, и все, как выяснилось, ехали с путевками и постепенно сходили: в Булдури, в Дзинтари, в Майори — все эти станции мелькали в зеркальных окнах по обеим сторонам сплошным, бесконечным продолжением строений меж высоченных сосен.

— А мы куда? — спросила она.

— Мы? — ему явно нравилось чувствовать себя богом. — Мы приехали, — и подхватил чемодан с портфелем.

Никто больше не высадился тут.

— Слишком рано, — пояснил он. — Семь часов.

— Это река или залив? — Анна кивнула вправо.

— Река Лиелупе.

— А море?

— Море по ту сторону.

Такое ощущение после и возникло у нее: как на острове — метров триста в ширину суши, а по обе стороны вода.

— Ты здесь был?

— Да. Нам нужна одна старушка. Если у нее есть место, она, может быть, поселит нас. Правда, испросит удостоверения наших отношений, приготовься.

Испросила. Не жена ли Анна Сергею Леонидовичу?

— Нет,— ответила Анна.

— Еще нет,— добавил он.

Старушка думала. Они и соврать могли, но тогда что-то уже не таким счастливым оказалось бы, Анна чувствовала это, а чтобы ничто не мешало, нужно только все, как есть, оставить,— и вот чему быть, то и будет, и — Анна чувствовала это с самой Москвы — будет счастливо.

Им отвели летнюю кухню, прилепленную к задней, дворовой, стене небольшого домика с голубыми ставнями. Здесь же лепилось еще какое-то помещение сарайного типа.

— Если спросят, говорите, что семья, вы — мой родственник. Откуда? — спросила хозяйка.

— Из Ухты,— подсказал Сергей.

— Из Ухты,— согласилась хозяйка.— Это где же?

— На Севере.

Север ее устраивал.

— Вот тебе и латыши родственники.

— Тебе тоже,— улыбнулся он.— И чем не родственница, когда так выручила?

А погода в самом деле не вредничала и не только не вредничала, но и, вопреки всем слухам и даже своему характеру вопреки, rassиялась в сентябре солнцем и теплом самым летним. То есть летом-то как раз она и застудила всех, перемочила, поразогнала раньше времени отдыхающих, остались и приезжали те лишь, кому нужно лечиться или работать — в Домах творчества, например.

На море Анна лишь однажды была, да и то в детстве: в Артеке на Черном. Это же совсем не таким оказалось — бледное, тихое, плещется себе, словно потревоженная чьей-то забывшейся рукой плоская тарелка воды.

— Тебя бы в открытое море, да штормик баллов этак пять, узнала бы «тарелку».

— Все равно. Черное и без шторма — сила.

И небо такое же бледное, выцветшее. Вечером то ли оно промокнулось в море, то ли море в небе: там и там палевые, с серым размывом очертания облаков. Раковина раскрытая?

В таком покое очутилась Анна, да после московской сутолоки, да после одиноких, в общем-то, и суетных лет, что здешняя тишина и отсутствие каких-либо раздражителей воспринимались ею празднично.

— То-то же,— самодовольно отмечал Сергей.— Тебе что-нибудь говорит имя Карно?

— Нет вроде, — Anne самой чрезвычайно нравилось позволять ему чувствовать себя существом всемогущим.

— Им сформулировано второе начало термодинамики, а оно, Анюта, гласит: каждая замкнутая система стремится к своему наиболее вероятному состоянию, то есть — хаосу. Понятно?

— Да я-то при чем? Я-то не замкнутая система.

— Ты замкнута на своем одиночестве. Хаос же — это, да будет в утешение тебе известно, амортизация, старение, разложение, распад.

— Ну уж. А Вадька?

— Вадька входит в твою систему.

— Но он сам — система. Не согласна! — отбивалась Анна.

— Не утешил, — огорчился Сергей. — Только сам испугался.

Даже поздним вечером море не чернело, только притухало вместе с небом без убранного куда-то за плотную серую ширму светильника. Белел пляжный песок, непривычно мелкий и мягкий, как пыль, и усиливалось впечатление нереальности. Вечерами все местечко — конечно, курортники в основном — покидало свои стеклобетонные корпуса и коттеджи и гуляло по берегу; казалось, это хрупало чем-то съедобным само море, стеснительное днем и деликатное даже теперь. Призрачный свет, гул волны, хруст песка, совершенно особенный воздух, от которого Анна пьянела по-настоящему.

— Бедняга, — сочувствовал Сергей. — Ты у своих печек совсем отвыкла от свежего воздуха.

И они уходили наверх бродить по улочкам. Заходили в полюбившийся ресторанчик на углу улицы Музея — к горячим крестьянским колбаскам, вкусным необыкновенно, но соус подавался такой агрессивно-жгучий, что в первый раз Анна обожглась, задохнулась, заполыхала — от ушей до желудка.

Улочки пустели совсем рано, лишь колокольный звон каждые полчаса напоминал о времени. Колокольный звон жил совершенно самостоятельно, как и его великий сосед — море. Может быть, они перекликались друг с другом.

— Тебе не кажется, что мы на острове? — спрашивала она.

В их комнатенке зачем-то висели старинные, с кукушкой, часы. Перед боем раздавался такой продолжительный скрежет, что они просыпались, и тогда только выскочившая кукушка отрешенно и хрипло заводила свои отмеренные «ку-ку».

— Ну и система! — бесился Сергей. — Давай сломаем что-нибудь в часах? А что? Ничего не видели, ничего не знаем.

— Что ты! Вполне симпатичная птичка. Думаешь, ей так уж и хочется работать, старой и уставшей давным-давно? Но она служит нам.

Уж да — сколько лет жизни, сколько радости накуковала? В таком покое просто необходимо ей было иметься, такой-то озабоченной. Впрочем, дни и так таяли, словно в сумерках звон колокольного времени.

— Мы приедем сюда еще? — спросил он.

— Не знаю. Мне кажется, оно, море, прекрасно обойдется без нас.

И тот бронзовый рыцарь, повергший мечом дракона, — он даже не заметит, что нас нет. Здесь удобно потеряться, когда этого захочется.

— Поедем в другое место — какая разница. Кто кого позовет?

— Ты, — сказала она.

— Только не летом — в этом году я уже отгулял свой летний отпуск, да вот добавочно еще. Опять в сентябре — как?

— Ладно, в сентябре, — согласилась она.

— А если... — он не договорил, но она поняла.

— Нет, — ответила.

— Почему?

— Не знаю.

— Совсем нет?

— Не знаю.

— Ты хочешь, чтобы я распался, в хаос разложился? Ты этого хочешь?

— Ни за что!

— А тогда...

— Тогда я, — перебила она, — хочешь, буду браслет на щиколотке носить? Как в Калифорнии. Чтобы к девушке не приставали, чтобы видели: она обручена.

— Хочу, — сказал он. — Пойдем в Майори браслет выбирать, сейчас же и наденешь. А ты думала? Но, чур, брюки тогда снять, иначе никто и не увидит.

Ходила там Анна в брюках да в пончо — вот и весь наряд. В дождь сидели дома. Да и дожди-то случались чаще всего ночью, они шуршали в соснах так упорно и основательно, что конца вроде не предвидится — нет, кончались к утру.

— Это потому, что мы здесь, — хвастался Сергей. — Потому, что ты.

Однажды море зазеленело, заволновалось. Даже Сергей не отважился испугнуться, сидели на сломанном лежаке и смотрели.

Штормик штормиком, однако, волна, которую выбирала себе Анна, еще задалеко от берега словно бы ныряла под воду, а выныривала уже на самом берегу всего-навсего лишь слабым гребешком.

В тот вечер над морем в мгlistом небе медленно всходила огромная багровая луна, Анна не поверила даже, что это луна, настолько странной показалась по величине и по цвету — как облако.

В тот вечер они поговорили. Так получилось. Потому что специально они ничего не делали — все, как получится, с полным доверием к своему Случаю.

— Я не уверена, что может быть лучше, чем есть.

— Значит, ты не уверена и в том, что может быть так же, как теперь?

— А ты сам? Уверен?

— Я об этом не думаю. Во всяком случае, я знаю, что самое тяжелое позади. Главное-то, как мне думается, это в себе уверенным быть. Нет?

— Наверное.

— И ты не уверена в себе?

Она не сказала, что боится. Она не забыла еще это «самое тяжелое», оставшееся позади, она не знала, почему оно было. Да и не си- ница ли уже — тот пойманный журавль?

В их пещеру заглядывали.

— Есть кто? — спросил мужской голос.

— Есть, — ответил Сергей.

— Увы, — засмеялась невидимая спутница того голоса.

В круглой этой пещере, выложенной из камня, можно было косте- рок разжечь в специальной выемке, можно было просто посидеть за врытым в землю чурбаком. Над входом пустел вмонтированный пат- рон, да администрация, видимо, и не пыталась больше вкручивать лампочку. Этакое вот вполне глухое местечко среди сплошного осве- щения. И вход сюда узкий — вымощенная тропка, вымощенная стена по одну руку, по другую — сама пещера. Как раз по пути к домику с голубыми ставнями.

— Я сам виноват, наверно, — говорил Сергей. — Поспешил, что ли? Спешу на поезд, спешу на самолет... Форсаж событий, форсаж чувств...

В кромешной темноте легко разговаривать, иное лишь для темно- ты и предназначено. Только пусть уж Сергей остается владыкой — ни сомнений, ни нерешительности, ни покаянности; так ей, сильной Анне, сейчас хотелось.

— Такое время, — сказала она поэтому. — Время, когда нет вре- мени. У меня вот нет времени отрастить волосы, все стригусь.

Его сигарета пульсировала в темноте красным огонечком...

А переписки у них не получилось. Анне, например, бумага внуша- ла недоверие, бумага таила коварство — подстережет что-нибудь и выдаст, да как-нибудь иначе, чем на самом деле. Одно слово тянет за собой множество, а все не то получается, все не то.

Письма, впрочем, были иногда, но типа такого: «Аня, не читала ли в «ИЛ», номер первый, Андре Моруа? Если нет, то советую — ве- щика оригинальная и милая — затем хотя бы, чтобы доставить себе удовольствие погордиться своей интуицией. Сколько женщин теперь кинутся перевоспитываться! А ты, вон какая мудрая, давно, оказыва- ется, знаешь, что: «Самыми любимыми женщинами были те, которых возлюбленные видели редко» и что: «Великая сила женщин — в отсут- ствии». Ты и отсутствуешь, мудрая и хитрая женщина...».

— Филатова, завтра подаю списки на октябрьский отпуск, вклю- чать вас или нет? Если нет, — пригрозил «бот», — то в декабре идете, последний раз говорю.

— Как хотите, я же сказала.

Будь женщина «ботом», давно бы отправила в отпуск, женщины почему-то всегда черствеет. Или просто дисциплинированнее?

А уже падали ранние снега. Таяли, правда, да наполовину с дождем.

Вот и снова утро к встрече людей вырядилось ночным снегом, он

торжественно и тихо лежал на зеленых ветвях, им будто вновь зацвели приземистые черемухи за цехом.

Осенний снег — это всегда празднично, потому что ненадолго, потому что он еще стает, еще в гостях.

Но, может быть, возьмет да не стает? Сейчас ведь повсеместно изменяется климат.

— Пляши! — завопил Вадька. — Я ждал тебя вчера из техникума, ждал и уснул, а ты пришла и на работу опять ушла.

— Да тихо ты, ничего не пойму.

— Пляши! — требовал Вадька, полез к себе под подушку.

Анна увидела письмо, проверила ногой, за нею ли стул, и села, улыбаясь.

— Ну и что? Отдавай, Вадька, я сейчас голубцов с грибным соусом тебе сделаю.

— Покупа-аешь! — скис. — Хотя, конечно, какая пляска без музыки.

— Вот именно, — веско прикончила она.

— Ладно, пользуйся моей добротой, — Вадька, скисший именно из-за собственной слабости перед голубцами, протянул ей письмо. — Между прочим, мне тоже открытка. Ну и марочка на ней, гляди! Дядя Сережа пишет, что море передает привет нам. Ты хоть понимаешь?

Она кивнула.

— А я нет. «Привет от моря». Не «от», а «с моря», наверно?

Что ж, спасибо за привет. Анна рада, что оно — помнит. Ведь море такое великое, что ему ничего не стоит либо всех забыть, либо всех помнить — без различий, на которые только люди способны.

С поэтического семинара

Олег Филосов

ДОЧЬ

Человечек родной наш, точь-в-точь
На меня и на маму похожий,
Шестилеточка, девочка, дочь
С хрупкой шейкой, с прозрачною кожей.

Как пушинка, легка.
Без забот
По квартире кружит в упоенье.

Озорует, танцует, поет,
Поднимая у нас настроенье.

И капризна бывает — вся в мать —
Вынуждая сердиться, не скрою.

И по первому зову играть
Мчится в людный наш двор, где порою
От мальчишек получит тычки,
И досады и злости не прячет,
И сжимает свои кулачки,
И, не в силах отпора дать, плачет.
И сверкают смородинки глаз,
Пока слезы в них не иссякают,
И, конечно, в который уж раз
Очень быстро глаза высыхают.
Снова бабочек рада ловить
И обидчикам всем улыбаться,
Забывая в стремленье любить
О нередкой нужде защищаться.

О, детство! Прежде, чем тебя постигли,
Промчалось ты, хлестнув своей волной,
Невольно наполняя наши игры
Недавно отгремевшею войной.
Нам, юности всходящим на подмостки,
Еще той битвы виделись следы,
И долго доносились отголоски
На всех сполна отпущенной нужды.
И так же, как в октябрьских залпах дедам,
И так же, как отцам в тот майский час,
И слово, и понятие «победа»
Священно и естественно для нас.

г. КЕМЕРОВО

ДОЯРКИ

Морозной ночью не услышишь голосов.
Морозной ночью все закрыто на засов.
...А поутру, лишь засултанятся дымы,
Скрипят доярок полусонные пимы.
И сами женщины разбужены едва;
Еще не высказаны первые слова,
Еще не помнишь, как одет и как обут,
Но снова ноги беспокойные ведут
Туда, где теплое сопение коров,
Где слышен кашель заводимых тракторов,
Где три березы за совхозным денником
Зима забрызгала веселым молоком...
Спешите, милые, пока не рассвело...
...А я потопаю тихонько за село;

Пойду туда, где бледно-розовый лесок
Залез в сугробы, словно в сахарный песок,
Где просыпаются для нового труда
И лисьи села, и сорочьи города...
Я не от праздности туда направил путь.
Хочу на мир теперь по-новому взглянуть,
Чтобы потом, к теплу людскому воротясь,
Во всем в природе уловить взаимосвязь.
...А крыша неба уж светла и весела...
И слышен шум из недалекого села —
Село ушло в свои заботы с головой...
И, повинувась этой силе трудовой,
На тонкой ветке хорохорится снегирь,
Ну, с добрым утром, моя славная Сибирь!

ДЕТСТВО

По канаве — лопухи, лопухи...
За канавою ковром — резеда.
Растеряли своих кур петухи,
Ни квохтанья, ни пера, ни следа.
От жары сухой плетень — серебром.
Хмель с козявками на том серебре,
Как рубахи, облака за бугром,
И дырявый чугунок на бугре...
В холодке лохматый псина с утра
Дразнит улицу большим языком.
В сенях мать грохочет цинком ведра —
Скоро летушку звенеть молоком.
И с какой-то погремушкой в руке,
Озирая этот пестрый мирок,
Как на троне, ты сидишь на горшке,
Раз-два — летний деревенский царек.

г. НОВОКУЗНЕЦК

СКАЗКА, НЕ КОНЧАЙСЯ!

РАССКАЗ



Пришла мама за Светой в детский сад, а воспитательница Галина Сергеевна жалуется:

— Что-то с нашей Светочкой случилось. Всегда такая примерная девочка была, а сегодня пришлось наказать ее за плохое поведение.

Удивилась Светина мама, расстроилась, спрашивает у Галины Сергеевны, в чем ее дочка провинилась.

— Она сегодня Андрюше Калугину в лицо плюнула, — сказала Галина Сергеевна.

— Света, как ты могла позволить себе такое? — ужаснулась мама.

Света одевалась, обиженно сопела носом и молчала. Она посмотрела на маму и сказала:

— Галина Сергеевна сама велела мне на Андрюшу плюнуть, а потом ругает.

— Что ты говоришь? — возмутилась мама.

— Да, мамочка, Андрей первый меня толкнул. Я погналась за ним, чтобы дать ему сдачи, а Галина Сергеевна сказала: «Плюнь ты на него, Света, да отойди». Я плюнула и отошла.

Мама и Галина Сергеевна переглянулись и рассмеялись. А Света совсем обиделась и отвернулась.

— Света, просто это выражение такое. Сказать: «плюнь и отойди» — все равно, что сказать: «не обращай на него внимания». Понимаешь? — проговорила с улыбкой воспитательница.

— Понимаю, — сказала Света уже не таким обиженным тоном.

Но про себя подумала: «Не обращай внимания» — это одно, а «плюнь» — это совсем другое».

А потом мама с дочкой, взявшись за руки, пошли домой по длинной-длинной заснеженной дороге. Вдоль улицы горели фонари, сливаясь в сплошную огненную линию.

— Встали, сели. Встали, сели — бормотала вполголоса Света.

— С кем ты разговариваешь? — спросила мама.

— Я это огонькам. Вот так прикрою глаза, и огоньки вытягивают тонкие длинные ножки. Это они встали. А открываю глаза, они поджигают ножки. Сели. Вот опять: встали, сели. Встали, сели.

— Ну какая ты смешная! — рассмеялась мама.

— И еще я вот что могу с луной сделать, — сказала Света. — Смотри на луну.

Мама посмотрела. Луна в этот вечер была яркая, желтая. Словно большой фонарь-шар.

— Ну и что ты можешь с ней сделать? — любопытствовала мама.

— А вот смотри! Сейчас луна гладкая и круглая, да? А вот я прижмуриваю глаза и вот видишь, от луны разбежались лучики. Видишь?

— Да, — улыбнулась мама.

— Ага! А вот я открываю глаза... Видишь, опять нет лучиков.

— Замечательно! — удивилась мама. — Только ты очень много говоришь. Закрой рот. Не дыши холодным воздухом, а то горлышко застудишь.

— Ой, мамочка, как еще далеко до дома. Я не хочу идти. Я сейчас поеду.

— На чем?

— На луне, — смеется Света. — Все равно она в ту же сторону идет, куда и мы. Ну-ка, подсади меня!

Мама, смеясь, подхватывает дочку на руки и поднимает вверх.

— Все, спасибо! Ладно, я поехала. Не отставай, мама!

— Держись крепче, не упали с луны!

— Держусь! Жалко, что тут, на луне, мало места для двоих. А то ехала бы ты со мной. Ты устала идти пешком, да?

— Нет, я ведь большая. Ну куда же ты поехала, Света? Ты что не видишь, вот наш дом?

— Чуть-чуть дальше не проехала. Сейчас я спрыгну!

И Света падает рядом с мамой в сугроб. Мама стряхивает с ее шубки снег и говорит:

— Дай-ка я тебе шубу почищу. Ты вся желтая от лунной пыли.

— Жалко, — говорит Света, — что утром луны не будет. Я бы до садика опять на луне доехала.

Окна дома светятся. Дома Вера. Это старшая Светина сестренка. Она учится в третьем классе. Папа тоже учится. В вечернем техникуме. Поэтому его сейчас нет дома. В комнате тепло и уютно. Вера, как всегда, читает книгу, забравшись с ногами на диван. Света бежит к сестре.

— Вера, я сейчас на луне каталась!

— Молодец, молодец, — отвечает та, — только не мешай мне.

— Почитай вслух! — просит Света.
— Ты ничего не поймешь, — говорит «взрослым» голосом Вера. — Это книга для больших, а не для таких малявок, как ты.

— Сама малявка!
— Мама, пусть лучше Светка не обзывается, а то я ей поддам! — кричит Вера.

— Ну, начинается! — сердится мама. — Вечно вас мир не берет. Порознь вы бываете такими хорошими девочками, а как сойдетесь, на вас смотреть не хочется.

— Да, — хнычет Света, — она первая начала. Я же с ней по-хорошему. Сказала ей, что на луне каталась.

— Вот и вруша! На луне сейчас луноход катается, а не ты. Луна-тик какой выискался!

Света начинает плакать.

— Доченька, — зовет мама, — иди со мной картошку чистить. Вот тебе картошка и чашка с водой. Будешь купать картошку в воде и давать ее мне. А я ее чистить буду и в чистую воду опускать.

Слезы у Светы мигом высыхают. Она принимается за работу.

— Мама, — просит Света, — расскажи сказку.

— Не сейчас только, — я занята. Нужно ужин готовить, скоро папа придет.

— У тебя ведь не рот занят, а руки. Ну, давай я тебе сказку расскажу.

— Расскажи.

— Слушай, только сказка страшная. Ты не будешь бояться спать?

— Не знаю. Если очень страшная, то, может, буду.

— Нет, не очень. Слушай. Жил-был на свете добрый молодец. Красивый-красивый, умный-умный. Звали его Коля Осипов. Пошел он один раз на озеро в парк рыбу ловить. Только опустил удочку в воду, вся вода вдруг замутилась, удочку у него чуть из рук не вырвало. Потянул добрый молодец за удочку изо всей силы. Смотрит, а на крючок попался старый старичок. Зацепился он мокрой бородой. Плачет, не может никак отцепиться. Стал просить доброго молодца, чтобы тот его снял с крючка. «Я за это, — говорит, — тебя щедро награжу». Пожалел его Коля Осипов и отпустил. А старичок, — это был водяной, — сказал ему: «Лови три раза и больше не лови». И с этими словами нырнул в воду. Стал Коля ловить. Один раз ему попался на крючок рваный ботинок. Потом еще какая-то чепуха. А в третий раз он поймал красивую-красивую девушку-царевну, похожую на Анюту Тютикову. Смотрит она на Колю, улыбается и протягивает ему шоколадку «Аленка». Коля забыл, что ему больше нельзя ловить, и опять опустил удочку в воду. На этот раз ему попался заяц. Выскочил заяц из воды и как дал Коле палкой по лбу. Коля упал в обморок. А в это время Анюта превратилась в Люду Мелкову, засмеялась, показала Коле язык и исчезла, как будто ее здесь никогда и не было. А Коля очнулся, взял удочку, намочил шишку на лбу водой и пошел домой жить-поживать и добра наживать. Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец. Хорошая сказка?

— Хорошая. И все-таки очень страшная.

— Правда, очень страшная? — улыбается недоверчиво Света.

— Конечно. Как же после этого верить людям, если старичок пообещал щедро наградить Колю, а вместо награды Коля получил палкой по голове?

— Не надо ему было много раз ловить. И не надо верить всяким бабкам-ягам и водяным.

— Да... — озадаченно произносит мама.

— Мама, а что такое несол?

— Какой несол?

— Я не знаю, вот и спрашиваю. Нам сегодня в садике читали сказку про лису и журавля. Как они друг друга плохо угощали. В конце там так было: «И пошла лиса, несол нахлебавшись». Каким-то несолом ее журавль накормил.

Мама опускает руки с ножом и картофелиной на колени и смеется чуть не до слез.

— Несолоно хлебавши, — говорит она раздельно сквозь смех. — Это так говорят, когда остаются голодными. Понимаешь, выражение такое?

— А, опять выражение... Ну, а теперь ты расскажи сказку. Хотя коротенькую-коротенькую, как от печки до стола.

— Ой, господи, ну какую? Я тебе уже все сказки по сто раз рассказывала.

— Ну и что? Мне все равно интересно. Расскажи про гусей-лебедей.

Мама моет картошку, опускает ее в кастрюльку и рассказывает о том, как поехали мама с папой в город за покупками, а дочке Аленке наказали следить за маленьким братцем. «Зангралась Аленка с подружками, побежала с ними к речке и забыла про братца. Налетели тут гуси-лебеди, подхватили они Ивашечку...»

— Не надо, не надо! — кричит Света, зажимая ладошками уши. — Это место я хорошо помню. Рассказывай сразу, как Аленушка с братиком домой бежит.

— ...Воротились мама с папой из города, а дети дома, живы-здоровы. Одарили они детей подарками, похвалили Аленушку, что хорошо домовничала.

— Ура! — хлопает Света в ладоши. — А теперь правду расскажи!

— Какую правду?

— Любую. Ты мне сказку рассказывала, а теперь правду расскажи какую-нибудь. Ну, например, расскажи, где ты меня взяла?

— Ну как где? — улыбается мама. — Купила.

— В магазине?

— Нет, в больнице. Маленьких детей выдают в больнице. Сидела-сидела я как-то раз дома. Скучно мне стало. Папа в дальний рейс ушел. Вера с подружками на улице играет. А я сижу одна и смотрю телевизор. Смотрю и думаю: «Была бы у меня еще одна дочка, маленькая-маленькая, чтобы не убегала с подружками, а сидела бы со мной дома. Все бы мне было с ней веселее». Взяла я все деньги, какие

в доме были, и пошла в ту больницу, где маленьких детей продают. Зашла, а в больнице шум да крик. Дети лежат в хорошеньких малюсеньких белых кроватках и так кричат, что ничего не слышно. Нянечки бегают от одной кроватки к другой, а малыши красные, заплаканные, разинули ротик и никак не хотят молчать. Узнала врач, что я хочу взять себе ребеночка, обрадовалась, бросилась к самым горластым и говорит: «Вот этих берите. Мы их бесплатно отдадим. Очень милые мальчики». «Нет, нет, что вы, не надо мне мальчиков. Мне нужна маленькая и хорошенькая девочка. Можно, я посмотрю всех детей?» Разрешила врач. Пошла я вдоль кроваток. Все дети плачут, а на кроватке в уголке спит хорошенькая беленькая девочка. Носик маленький, курносенький, губы как вишенки, щечки розовые. Спит эта девочка, носиком тихонько посапывает и совершенно не плачет. Бросилась я к этой кроватке:

— Мне вот эту девочку заверните, пожалуйста!

Врач посмотрела на меня грустно и говорит:

— Это очень дорогая девочка.

— Все равно я ее возьму!

Заплатила я деньги за эту девочку...

— А сколько? — спрашивает Света.

— Шестнадцать рублей и восемьдесят семь копеек.

— Ого, много! — удивилась Света.

— Конечно. И пошла со своей дочкой домой.

— И тебе стало с этой девочкой весело?

— Очень. Только дочка эта оказалась хитрущей девочкой. Как только она попала домой, она совершенно перестала спать и стала кричать и плакать громче, чем все те мальчишки в больнице. Но она замолкала сразу, стоило взять ее на руки. Представляешь, как с ней было трудно?

— И это была я?

— Ну, конечно, ты.

— А расскажи, как вы с Верой меня потеряли.

— Очень просто потеряли. Была зима. Закутали мы тебя в розовое одеяло, положили на санки и поехали прогуляться в парк. День был теплый, солнечный. Вера впереди по тропинке шагает, я за ней иду и везу тебя на санках. Разговариваем мы с Верой о том, о сем. Вдруг Вера как закричит:

— Мама, а где Света?

Оглянулась я на санки, а тебя на них нет как нет. Только далеко позади нас на тропинке виднеется розовый сверток. Как помчались мы с Верочкой назад. Подбежали к тебе, а ты лежишь у тропинки на снегу, улыбаешься и что-то говоришь не по-русски, наверно. Ничего непонятно.

— Это я, наверно, вам говорила: «Эх вы, Маши-растеряши, родную дочку потеряли, не заметили», — смеется Света.

— Очень я тогда боялась, что ты простынешь и заболеешь, — призналась мама.

— А я что?

— А ты ничего. Ты и не подумала простывать и заболевать.
— А Расскажи, как я потом сама потерялась.
— Я тебе уже не раз рассказывала.
— Ну и что? Расскажи, пожалуйста, еще!
— Дело было уже летом. Тебе было полтора года. Пошла я в огород огурчиков набрать, а ты в доме играла. Набрала я корзинку огурцов и пошла домой. Зову тебя: «Светочка, иди со мной огурчики купать»! Никто мне не отвечает. Заглянула я в одну комнату, в другую. Ну, думаю, это она со мной в прятки играет. Залезла, наверное, под кровать и помалкивает. Заглянула я под кровати, на кухню. Выбежала во двор. Нигде тебя нет. Зову, кричу, чуть не плачу.

— Ой, бедненькая мамочка, как мне тебя жалко. А вдруг ты меня совсем бы не нашла.

— Искала, искала я, не могу найти своего светлячка и все. Вдруг слышу, шум стоит в сарае. Куры кудахчут, кричат, вылетают из дверей сарая, даже пух и перья летят от них. Удивилась я. В чем дело? Зашла в сарай, а там около ящичка, в который куры яички несут, сидит моя дочка Света. Нос и щеки у нее желтые, платье тоже в желтом и мокрое. И с подбородка что-то желтое капает и по рукам течет.

— Это сырые яйца, да?

— Да, это дочь моя достает из ящичка яички разбивает их и пьет. Может быть, больше на себя льет, чем пьет. Только возле нее на соломе уже несколько пустых скорлупок от яиц. И обрадовалась я, что нашла дочь, и испугалась, как бы она не заболела от выпитых яиц.

— Я заболела?

— Нет, ты не заболела. Только с тех пор пришлось дверь сарая закрывать на замок. А ты подходила к двери, стучала в нее кулачком и кричала: «Дай, дай»!

— Ой, какая я была смешная маленькая! Я опять хочу быть такой маленькой.

— Ничего себе! Я жду, чтоб мои дочки скорее подрастали, учились, помогали мне обед готовить, порядок в доме наводить. А ты — опять маленькой.

— Ну ладно, я вырасту, ладно. Буду работать, а ты будешь дома сидеть, отдыхать. Я буду тебе все делать, а ты будешь моей дочкой. Ты сможешь стать маленькой, когда я буду большая?

— Смогу, — обещает мама, сдерживая улыбку.

— А Веру мы поженим на ком-нибудь, чтобы она не дралась и к нам не приставала. Да, мама?

— Ой, Светка, Светка, над тобой со смеху помрешь.

— Мамочка, не говори мне никогда про умиранье. Мне так тебя жалко становится, даже плакать хочется.

— Ну все, — говорит мама, — ужин готов. Быстро мыть руки и за стол. Вера, ты все читаешь? Сколько раз можно повторять?

— Я сейчас! — кричит из комнаты Вера. — Ой, мне Мурзик ухо откусывает. Перестань, Мурзик! Мне, конечно, очень трудно с двумя ушами жить, но я уж как-нибудь перемучаюсь. Иду, мамочка!

— Ох и юмористы вы у меня! — смеется мама.

— Какие юмористы? — спрашивает Света.

— Это которые своими вопросами и разговорами родителей уморяют, — объясняет появившаяся в дверях Вера.

Наконец, все стихает. Девочки спят в своей комнате. Мама включает настольную лампу и садится с книгой к столу ждать папу с занятий в техникуме.

Дни идут за днями.

— Ох, мама, — вздыхает Света, — почему это зима такая длинная, а лето коротенькое-коротенькое? Я даже не верю, что снег когда-нибудь растает.

— Ну почему же ты не веришь? — улыбается мама. — Посмотри, вон на крышах уже сосульки появились. Утром они холодные, тусклые, а прогреет днем солнышко, они оживут, растают и заговорят: «Кап-кап, кап-кап».

— А вечером?

— А вечером опять притихнут, съезжаты и уснут. До утра.

— Ой, мне их жалко!

— За что их жалеть? Им хорошо. Такая у них, сосулек, жизнь.

— Света, смотри под ноги, — говорит мама. — Иди прямо по тропинке. Снег мокрый, рыхлый. Шагнешь мимо и наберешь в сапожки.

Света шла и шептала: «Ножки. Сапожки».

— Мама, а я стишок придумала.

— Ну-ка расскажи!

— Санки вытянули ножки, просят: «Дайте нам сапожки!» Потому что они не хотят по мокрому снегу ездить.

— Хороший стишок, — похвалила мама.

— И еще я придумала. Послушай: «Травка зеленеет. Солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит».

— Нет, не ты придумала, а поэт.

— Может, и поэт придумал. Но сейчас я это сама придумала. Почему ты мне не веришь?

Мама промолчала.

— Мама, а мультфильмы будут по телевизору?

— Будут.

— Вот хорошо. Хоть бы про колобка показали. Мне так нравится, когда он этой хитрой и злой лисе жалуется: «А меня медведь обидеть хотел...» Лиса-то его скорей обидит. А он еще маленький и ничего не понимает. Просто прелесть!.. А почему сегодня такое небо грязное?

— Ну, не каждый же день солнце. Сегодня пасмурно, а завтра, глядишь, опять солнышко выглянет.

— Знаешь, мамочка, мне хочется залезть на что-нибудь высоченное, ну хоть на вот тот подъемный кран, и протереть все небо тряпкой. Все тучи стереть, стереть, чтобы они солнышко не прятали. А почему кран не перевертывается, когда тяжести поднимает?

— Потому что у него есть такой противовес. Понимаешь? Смотри, там, внизу, большие блоки бетонные наложены. Видишь? Они и удерживают кран, не дают ему упасть.

— Мама, а ты на стройке на кране работала?

— Нет, я ведь мастером была.

— Мастером на все руки?

— Нет, пожалуй, не на все, — смеется мама. — Но у меня на стройке действительно работали мастера на все руки. Каменщики, бетонщики, монтажники, плотники, штукатуры, маляры.

— И что они делали?

— Дома строили. Каменщики стены из кирпича выложат. Монтажные плиты перекрытий, то есть потолки, уложат. Электрики свет подключат. Сантехники проведут воду и отопление. Плотники полы настелят, окна и двери сделают. Штукатуры стены и потолки оштукатурят. А потом придут маляры-волшебники. Махнут они волшебной палочкой-кистью, и все вокруг расцветает. Серые потолки и стены становятся белоснежными. Полы — ярко-желтыми. Панели на кухне и в ванной — небесно-голубыми. И въезжают люди в новый дом, как в сказку! Хорошо! Ты хотела бы стать строителем? Вера вот хочет стать маляром. А ты какую бы выбрала профессию?

— Я сейчас подумаю, — серьезно говорит Света. — Я даже не знаю. Сначала хотела быть воспитателем, а теперь родителем.

— Кем? — смеется мама.

— Ну чего ты смеешься? Родителем. Чтобы у меня была маленькая дочка. Я бы с ней гуляла, сказки ей рассказывала бы.

— Все это хорошо, но нужно же где-то работать.

— Но мне так жалко оставлять свою дочку одну или водить ее в садик. Она будет скучать без меня.

Вечером Света продолжает прерванный разговор.

— А ты, Вера, кем будешь работать, когда вырастешь? — спрашивает она сестру. — На стройке, да?

— Да, сначала я хотела работать на стройке маляром, но теперь решила, что буду артисткой, — отвечает та серьезно.

— Я тогда тоже буду артисткой! — кричит Света.

— Какая из тебя артистка? У тебя уже неделю зуб шатается, а ты его не даешь выдернуть. Под этим зубом новый растет, а ему некуда расти. Новый может из-за него вырасти кривым. А кто тебя с кривым зубом в артистки возьмет?

— Ну и пусть, какой вырастет, такой и вырастет. Если у меня будут ровные зубы, — пойду в артистки. А если кривые, то буду на стройке работать!

Папа сделал очень красивый и прочный скворечник. Вера решила, что лучше, чем этот, скворечника просто быть не может. С нетерпением ждали прилета скворцов. Наконец, пожаловали пернатые гости. Но почему-то новый скворечник пустовал.

— Не нравится им чем-то наш домик — говорит мама.

— Такой красивый, — горевала Света. — Зелененький, хорошенький. Если б я была скворушкой, я бы только папин домик выбрала.

И вдруг однажды утром папа прислушался и сказал:

— Кажется, и к нам пожаловали гости.

Мама подошла к окну. На веточке у скворечника сидел скворец и

пел беззаботно, заливисто, нежно. Из окошечка птичьего домика вылетела другая птица. Она тоже вспорхнула на ветку.

Птицы куда-то улетели. Мама проводила их взглядом. Скворцы начали виться над скворечником соседнего дома.

— Улетели, — разочарованно сказала мама.

Но через некоторое время птичья пара вернулась. Скворцы кричали. Даже бранились. Скворец, казалось, говорил: «Ты посмотри, этот дом совсем новый и теплый. Все щелочки промазаны и закрашены. Сухо, не дует. Что тебе еще нужно?» На что скворчиха, сердясь, отвечала: «Да, тот дом хуже, но он на березе, а не на каком-то голом шесте. То ли раздолье будет и нам и деткам нашим на березе! Давай все взвесим. Выбрать дом — дело не шуточное. Посмотрим еще раз». Они срывались и снова улетали к соседнему дому. И возвращались опять. «Береза тебе нужна? — кричал сердито скворец. — Чтобы по этой березе кошки подбирались к нашим детям? Да, здесь голый шест, но по нему кошкам к домику не забраться». Скворчиха задумывалась на миг, но из упрямства кричала: «И слушать тебя не хочу! Тоже мне мужчина, кошку испугался!» — и опять улетала к березе, а за ней летел и скворец. Потом птицы вообще исчезли куда-то. Мама занялась приготовлением завтрака и на время забыла о скворцах. Но тут раздался Светин радостный крик: «Мама, посмотри!»

Света сидела на кровати и смотрела в окно. В скворечник один за другим влетали скворцы. Один держал в клюве сухую травинку, другой белое куриное перышко.

— Ну все, выбрали наш домик, — сказал с улыбкой папа, — гнездышко для малышей делают.

Как-то очень быстро сошел снег. Кажется, совсем недавно вдоль улиц огромными белыми чудовищами лежали снежные сугробы. А сейчас на полянах из-под старой прошлогодней пожухлой травы выглядывает молодая, зеленая и веселая травка.

— Мамочка, — Света бежит навстречу маме. — Мы сегодня на прогулку ходили на старый аэродром. Ой, какая прелесть! Такое большое-большое поле и уже совсем зеленое. Пойдем, а!

— Посмотрим, какая будет погода. Если в воскресенье будет хорошая погода, мы всей семьей пойдем в лес. Папа обещал.

— Ура! А Барсика возьмем?

— Конечно. Разве можно идти в лес без собаки? Кто же нас будет охранять?

— Да ведь Барсик еще маленький, — улыбается Света.

— Все равно, он будет предупреждать нас об опасности.

Погода в воскресенье выдалась на редкость хорошая. Тепло, солнечно. Итак, вся семья отправляется в лес. Впереди шагает папа с рюкзаком за спиной и ведет на тонком ремennom поводке Барсика — нескладного четырехмесячного щенка овчарки. За ними вприпрыжку бежит Вера. За Верой шагают, взявшись за руки, мама и Света.

— Ой, мама, посмотри! — смеется Света. — Барсик что делает!

Барсик до этого ни разу не ходил на прогулки. Тем более, на поводке. Он поднимал то одно, то другое ухо, вертел головой, забегал вперед, путаясь у папы под ногами.

— Ну, я уже не могу так! — сказал папа. — Ваша затея взять щенка в лес, вы его и ведите.

— Дай я поведу! — крикнула Вера и, зажав конец поводка в руке, побежала впереди всех. Барсик с веселым лаем помчался за ней.

— А почему это Вера? — И я хочу вести Барсика.

— Ты не удержишь поводок, — сказал папа. — Ты лучше маму води.

— Маму не надо вести. Я хочу Барсика!

— Ну хорошо, сначала Вера, потом ты.

Наконец поводок из рук Веры перешел к Свете. Сначала все шло хорошо. Но вдруг позади них на дороге загромыхала телега. Барсик рванулся в сторону, выдернул поводок из Светиной руки и понесся, что было духу, по дороге к лесу. Конь с громыхающей телегой мелькнул мимо папы, мамы и девочек и, поднимая клубы пыли, промчался по дороге вслед за несчастным, до смерти перепуганным щенком.

— Барсик! Барсик! — кричали все четверо.

Исчезла давно за поворотом упряжка. Улеглась на дороге пыль. Барсика нигде не было видно.

— Ну что, достукалась? — ругала Вера сестру. — Где теперь Барсик, где?

Света виновато молчала. Наконец подошли к лесу.

— Ой, смотрите! — крикнула Вера.

Навстречу им из лесу вышел парень. На руках он нес Барсика.

— Барсик, Барсик! — закричали сестры.

Щенок забеспокоился, стал вырываться из рук парня. Тот опустил Барсика на землю. Щенок, волоча поводок, подбежал к папе.

— Ваша собака? — спросил с улыбкой парень. — А я гляжу, сидит у дороги, язык высунул, бока так и ходят. Ноги дрожат. Идти не может. Взял я его и понес. Хотел себе взять. Думал, он бездомный.

— Нет, он домный, — сказала Света. — Просто он коняшку испугался и убежал. Мы его взяли с собой, чтобы он нас от опасности в лесу защищал. Да, мама?

— Да, доченька, — рассмеялась мама.

По обочинам дороги замелькали первые цветы.

— Это мое, я первая увидела! — закричала Вера и побежала на поляну, раскинув в стороны руки, словно прикрывая ими подснежники, белеющие тут и там.

— Что, это все ей? — закричала Света и припустила за сестрой.

— Подождите! — строго прикрикнула мама. — Зачем сейчас рвете цветы? Сначала мы походим по лесу, посидим, поедим, а когда пойдем домой, тогда нарвем по букетику.

— Их же здесь вон сколько, — сказала Света, обводя взглядом поляну, сплошь усыпанную цветами.

— Да, в природе всего много. Но если не жалеть природу, не беречь ее, то она обеднеет, — сказала мама.

— А что такое природа? — спросила Света.

— Природа — все, что нас окружает, — вмешалась в разговор Вера. — Это лес, земля, небо, облака, воздух. Вообще вся жизнь.

— Понятно, это женщина такая, волшебница, — сказала Света.

В кустах залаял Барсик.

— Ой, — испуганно прошептала Света, — опасность какая-то в кустах.

Папа направился на лай, и вдруг из-под самого носа Барсика вспорхнула какая-то большая птица и низко над землей полетела в сторону елочек. Барсик с лаем припустил за птицей. А папа осторожно раздвинул ветки кустов и наклонился.

— Смотрите! — позвал он всех.

Девочки подбежали первыми и ахнули. В середине куста в мягком уютном гнездышке, сделанном из сухой травы и перьев, лежало с десяток желтоватых яиц с мелкими темными крапинками. Размером они были немного мельче куриных.

Света, завизжав от восторга, потянулась к гнезду.

— Не тронь! — прикрикнул на нее папа, загородив рукой куст с гнездом. — Нельзя к ним прикасаться, а то птица почувствует запах человека и может улететь, покинуть гнездо.

— Как куриные яички, — сказала Вера.

— Их и снесла лесная курочка, — улыбнулся папа, — рябушка. А теперь пойдемте отсюда, а то она волнуется.

Папа аккуратно расправил ветки кустов, и все пошли дальше. Выбрали чистую полянку у ручья. Папа принес охапку сушняка и принялся разводить небольшой костер. Барсик бегал по берегу, а мама с дочками отправилась в глубь леса. Листья на березках и осинках еще не распустились. Только набухли почки, готовые вот-вот раскрыться. Пишно цвела верба. Ее цветки сидели на голых блестящих веточках, как крошечные пушистые птенцы.

— Прелесть! — сказала Света и потянулась рукой к веткам вербы.

— Мама, — крикнула Вера, — скажи, пожалуйста, Светке, чтобы она ничего не трогала. Сейчас она все тут поломает и испортит. И на гнездо она сразу налетела, как только увидела. Мне кажется, она хотела расколоть яички и выпить их.

— Я только погладить их хотела! — обиделась Света.

— Смотрите, какое красивое и большое перо! — позвала девочек мама.

— Ой, а чье это? — удивилась Вера, разглядывая нарядное пестрое перо, которое мама подняла с земли.

— Должно быть, ястребиное, — сказала мама.

— А он большой, ястреб? — спросила Света.

— Вот такой, — показала мама руками.

— Ого! А давайте обманем папу, что мы видели ястреба! — предложила Света.

— Старших, а тем более папу, обманывать нельзя! — сказала Вера.

— Мы просто пошутим.

— Ну, пошутить можно, — согласилась Вера. — Можно рассказать

папе, как мы устали и присели под елочкой отдохнуть. В это время прямо с неба на нас свалился ястреб и хотел унести нашу Свету. А мама как схватила его за крыло. Ястреб вырвался, а в руке у мамы только перо осталось.

Света вскочила на ноги. Глаза ее блеснули, щеки горели. Она крикнула укоризненно:

— Эх, мама, мама, не могла ты крепче ястреба держать! Я его ни разу не видела даже.

Вера с мамой дружно рассмеялись. Но тут снова услышали залистый лай Барсика и поспешили к костру. Барсик энергично работал лапами, разгребая прошлогоднюю слежавшуюся траву, листья и землю. Из-под его лап выскочила полевая мышь и побежала прочь. Барсик бросился вдогонку. Обогнал мышь, принял всем телом к земле и, виляя хвостом, залился веселым лаем. Мышь повернула в сторону. И снова щенок преградил ей путь.

— Ой, он съест мышку! — закричала Света. — Нельзя, Барсик!

— Нет, — улыбнулся папа, — Барсик с мышкой поиграть хочет, а она не понимает его, боится.

— Пап, а мы ястреба видели, — сказала Света, хитро подмигивая маме и Вере сразу двумя глазами.

— Да? Я тоже видел, — сказал папа. — Сейчас он вот тут рядышком со мной сидел.

— Что же ты нас не позвал? Я его ни разу в жизни не видела. Мы только перо от него нашли.

Опять все посмеялись над Светой. А потом «пировали». Ели бутерброды, яйца и шашлык, зажаренный на костре. А потом пили горячий ароматный чай, заваренный веточками черной смородины. Дома никогда не обедали так вкусно. По дороге к дому набрали по букету цветов. Барсик едва передвигал ноги. Вера сжалась над ним и взяла на руки.

— Ох, Светланка тоже устала, — сказала мама, глядя на при молкшую младшую дочь.

— Я не устала, — возразила Света, — просто я хочу на тротуар.

Наконец добрались до дома.

— Ну, понравилось вам, девочки? — спросила мама.

— Очень, очень, — закричали наперебой Света с Верой.

— Мама, мы почти у леса живем, а ходим в него редко, — сказала Вера укоризненно.

— Светочка у нас маленькая была, — ответила мама. — А сегодня она вон сколько исходила и хоть бы что. Теперь будем чаще выходить на природу.

— Мама, а природа плохая или хорошая? Вы с Верой говорили, что природа — это лес, цветы, деревья. А в садике я спросила у Галины Сергеевны, почему люди умирают, она ответила, что так устроена природа.

— Природа хорошая, — убежденно сказала мама. — Она очень умная, красивая.

— Все-таки природа это тетенька, да?

— Почему ты так решила?

— А папа в лесу говорил: «Вот тут природа проморгала, что наплодила комаров». А разве можно проморгать, если нету глаз? А раз есть глаза, то это человек или живое существо. Да?

— Пожалуй, да,— согласилась мама.

Вечером мама сказала папе:

— У нашей Светы аналитический склад ума.

А на следующий день, когда в ссоре Вера назвала Свету дурочкой, та крикнула:

— Ох ты! Мама вчера сказала папе, что у меня целый склад ума. А про тебя она этого не сказала. Поняла?

— Молчи ты, малявка! — рассердилась Вера.

— Нет, Света у нас не малявка,— сказала мама, входя в комнату.— Нашу Свету перевели в старшую группу детсада. Так что теперь, Вера, нам придется с мнением Светы серьезно считаться. Сейчас ты, Вера, на деле убедишься, как наша большая Света сама расстелет постель, ляжет и спокойно уснет.

— Сказку,— сказала Света, смущенно улыбаясь.— Ну пожалуйста, хоть коротенькую, коротенькую, как от Вериной кровати до моей.

— Большая,— хмыкнула Вера.— То же, что и каждый день.

Мама улыбается и соглашается.

— Ну хорошо, я не расскажу, а прочитаю сказку. Называется она «Волшебное кольцо».

Мама дочитывает последнюю страницу. Вера отворачивается к стенке.

— Спокойной ночи,— бормочет она сонно.

— Спокойной ночи, девочки!

— Мама,— шепчет Света,— если бы у меня было волшебное кольцо, я бы загадала одно желание, чтобы люди никогда не болели и жили долго-долго. Я так люблю хорошие сказки. Сейчас я придумала такой стишок: «Лодочка, качайся, сказка, не кончайся!»

— Ну хорошо, спи. Вера спит.

— Сейчас, мама, еще одно словечко спрошу и все. А можно купить волшебное кольцо?

— Нет, доченька. Через год пойдешь в школу, закончишь ее. Потом выучишься на врача и будешь лечить людей. Делать их здоровыми и счастливыми. И кольцо волшебное тебе не понадобится. Спи, спи.

Мама поправляет одеяла, целует дочек, гасит свет и тихонько выходит из комнаты. Она не слышит, как Света уже с закрытыми глазами повторяет свой стишок:

Лодочка, качайся.
Сказка, не кончайся!
Утром просыпайся,
Снова начинайся!

Прочитайте вашим детям

Александр Береснев

ВЕРХОЛАЗ

На березу
Я залез,
Вижу стадо,
Дальний лес,

На току
Грузовики,
Ленту синюю
Реки.

Я высотник,
Верхолаз.
Вдруг услышал:
«Ну-ка слазь!»

Мама мне грозит прутом,
Я спускаюсь к маме,
А что было мне потом,
Догадайтесь сами.

НЕУДАЧА

Раскинув руки,
Я бегу,
Остановиться
Не могу.
По лугу мчусь
Вперед, вперед,
Как самый быстрый
Самолет.
Бегу,
От радости кричу,
Еще чуть-чуть —
И полечу...
Но вот беда:
За пень ногой
Случайно зацепился.
Друзья смеются
Надо мной:
«Смотрите, приземлился!»

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОБЕДА

Под «ежик» комбайны
Подстригли поля,
Машины с зерном
Укатали, пыля.

Сердитые гуси
Стоят на стерне

И громко гогочут
Они в тишине:

«Напрасно спешили
Сюда на обед,
Все чисто убрали —
Ни зернышка нет!»

Николай Янченков

И В БОЮ—ВМЕСТЕ!

Кемеровцам не надо рассказывать о настоящем Шальготарьяне, они знают о городе-побратиме, северной шахтерской столице Венгерской Народной Республики.

А вот о том, что Шальготарьян в годы второй мировой войны был еще и северной столицей партизанского движения, в котором наравне с венграми принимали активное участие и советские люди, в том числе и сибиряки, слышали, наверное, немногие.

«Расскажите кемеровцам об этом,— просили меня Шандор Куримский, Янош Мольнар и Ева Кардош, участники партизанского движения, когда я в апреле 1975 года встретился с ними в Будапеште,— это так важно...»

Я выполняю их просьбу.

Итак, это произошло в конце 1944 года.

ДОМИК ПОД ЕЛЮ

У подножья горы Каранч, в окрестностях Шальготарьяна, под гигантской елью в охотничьем домике родилось партизанское соединение Шандора Ногради.

Домик и сейчас стоит возле этой же ели. При входе в него — мемориальная доска с надписью: «Здесь была база партизанского соединения Шандора Ногради. Октябрь 1944 г.— февраль 1945 г.»

— Лучшего места не придумаешь: лес подходит почти вплотную, обзор по кругу на пять-семь километров, а главное — рядом наши друзья — шахтеры и рабочие из

Каранчберени, Лайпудо и Шальготарьяна. Салашисты побоятся сунуться...— сказал подполковник Шандор Ногради своим боевым товарищам.

Прошло около двух месяцев со дня высадки в тылу врага. Маленькая организаторская группа Шандора Ногради, объединив вокруг себя десятки боевых групп сопротивления и партизанские отряды, превратилась в грозное соединение. Теперь под контролем партизан находилась огромная территория Северной Венгрии.

...Шандор Ногради оторвался от карты.

— Темновато что-то,— проговорил он.

Комиссар Андраш Темпе приоткрыл дверь в соседнюю комнату.

— Танюша, вздула бы огонек.

Вскоре тусклый свет керосиновой лампы осветил комнатку.

Радистка Самсоненко зашторивала окна, когда вошел адъютант командира Янош Мольнар.

— Прибыл Пал Тежер,— доложил он с порога командиру.

Пала Тежера знали все. Его домик располагался неподалеку. Он доставлял на базу продукты, нередко служил проводником.

— Беда, командир,— начал взволнованно Пал.— Начальник жандармов Каранчбереньской железнодорожной станции рассказал немцам о базе.

— Сам слышал?— Выжидательный взгляд Ногради остановился на лице егеря.

— Наш человек слышал этот разговор,— сказал Пал.— Просил меня:— «Передай

партизанам, пусть достойно встретят их завтра на рассвете.

— Начальника разведки ко мне! — приказал Шандор Мольнару.

Вскоре появился Евгений Лапшов. Сообщив о предстоящем нападении противника, Ногради приказал уточнить полученные сведения и не позднее двух часов ночи доставить данные о количестве сил и средств противника на станции Каранчберень...

Шел декабрь. Морозило. Восточный ветер пронизывал насквозь. Командир взвода разведки Сергей Рахманов, кутаясь в черный халат, одетый поверх стеганки, взбирался по откосу земляного полотна железной дороги. Слева и справа от него, несколько позади, медленно и осторожно ползли разведчики. Было их четыре.

Вот и железнодорожное полотно. В тусклом свете стрелочных флюгарок поблескивают рельсы. Крайний путь свободен. На остальных — железнодорожные составы.

Справа показалась фигура человека с винтовкой через плечо. Рахманов дал знак разведчикам остановиться.

Жандарм шел между рельсами крайнего пути, все время оглядываясь. «Видимо, ожидает прибытия поезда», — подумал Сергей и прижался ухом к головке рельса. Вскоре над лесом, на фоне еще светлого неба, показались белесые клубы дыма. Затем послышалось тяжелое чужьяканье паровоза. Еще немного, и поезд, громоыхав по входным стрелкам станции, вышел на прямую... Жандарм перешагнул через рельс, встал на концы шпал, спустился по балластной бровке и...

Разведчики схватили его, поволокли по склону полотна, засунули в рот кляп.

Возле вокзала выстроились в ряд шесть военных грузовиков. Чувствовалось, что моторы их заглухли совсем недавно: у машин еще не убраны стремянки, двери кабин водителей открыты. Несмотря на поздний час, там и здесь мельтешили немецкие солдаты. У входа в вокзал ротенфюрер выстраивал в шеренгу эсэсовцев.

Рахманов подполз с тыла к вокзалу, за-

глянул в окно. Жандармский старшина беседовал с немецким офицером. Перед ними на столе лежала карта. В глубине кабинета виднелось несколько ручных пулеметов, ящики с гранатами.

...Возвратились разведчики около двух часов ночи. Показания пленного жандарма совпали с данными Пала Тежера. По докладу Рахманова Ногради определил, что партизанам придется вступить в бой не менее как с ротой противника.

Гитлеровцы выбрали очень удобный момент для нападения: на базе оставалось немногим более тридцати человек. Остальные были заняты в операциях. Ногради пришлось вывести на оборонительные рубежи весь наличный состав базы, включая радистов Хосе Сандовалия и Татьяну Самсоненко.

Таня обрадовалась, когда Шандор Ногради приказал оставить «Северянку» и расположиться в его окопе.

Обращаться с автоматом и пистолетом Самсоненко научилась давно, а применить их на практике так и не пришлось.

В ходе сообщения показались Ногради.

— Приготовиться! — прозвучала его команда. — Огонь открывать по сигналу. Каждому наметить цель.

В предрассветной мгле показалась первая цепь противника. Эсэсовцы и жандармы шли в полный рост, уперев в животы приклады автоматов и поливая свинцовым огнем пространство.

Справа ударил ручной пулемет партизан. Цепь продолжала двигаться. Огозвываясь партизанский пулемет слева. Цепь залегла. Теперь только одиночные прицельные выстрелы разили противника.

И тогда двинулась вторая фашистская цепь.

Вражеские цепи начали откатываться. Свинцовый ливень преследовал их.

К вечеру возвратились партизанские группы, участвовавшие в других операциях. Передохнув, заняли боевые рубежи.

На рассвете следующего дня в атаку пошел эсэсовский карательный батальон.

Мощный теперь партизанский гарнизон численностью в 450 человек разгромил врага. Оставшиеся в живых гитлеровцы спаслись бегством...

450 человек — это сила, которая вплоть до прихода Красной Армии удерживала в своих руках большой партизанский край.

А ведь вначале их было всего шесть человек. В Киеве. И совсем, совсем недавно...

В ЛОГОВО ВРАГА

Ночь с 8 на 9 октября 1944 года. Таня застегнула ворот кофты, закуталась в телогрейку и, надвинув поглубже на голову шапку, прижалась спиной к мягкому заплечному вещевому мешку. Металлический ящик в прочной упаковке «отсчитывал» на ее коленях все неровности дороги, позвякивал на поворотах и каждую минуту готов был грохнуться под ноги.

Радиостанция «Север» — единственная цепочка для связи с «Большой землей», с товарищами из Украинского штаба партизанского движения (УШПД).

Привыкла к «Северянке» Таня. В тяжелом 1943 году «подружилась» с ней в Саратовской школе радистов, куда добровольно пришла с третьего курса Киевского медицинского института (институт в то время был эвакуирован в Саратов). После окончания школы Таню забросили в распоряжение партизанского соединения Одухи-Иванова, которое действовало на Львовщине. С 24 апреля по 12 августа 1944 года пробыла в этом соединении. И снова в путь. На этот раз в Венгрию.

— Товарищ Самсоненко! — крикнул из кабины машины Шандор Ногради. — Замерзли, наверное? Переходите в кабину.

Ему под пятьдесят. В нашей стране он с начала второй мировой войны, как представитель ЦК Коммунистической партии Венгрии. Возглавил интернациональную организаторскую группу. Ее задача: объединить разрозненные боевые группы сопротивления и партизанские отряды, действующие в Шальготарьянском угольном

бассейне, активизировать антифашистскую борьбу...

Сквозь шум ветра Таня отчетливо слышит слова командира. Слышит, как натужно скрипит под рукой Ногради дверца кабины, как он тяжело и учащенно дышит. Он уже тогда был болен, но себя не щадил. «Это видный венгерский коммунист, — вспомнились слова, сказанные начальником службы связи УШПД Е. М. Коссовским. — В двадцатые годы он был секретарем Союза Чехословацкой Коммунистической молодежи. Позднее — в Париже — секретарем Антифашистского Антивоенного Всемирного комитета. В начале тридцатых годов работал вместе с Анри Барбюсом и Роменом Ролланом в создании движения народного фронта. Кроме того, он отважный командир, и служить под его началом — большая честь».

— Спасибо, — благодарит Таня, отказываясь от предложения. — Мне не холодно.

Святошино. Аэродром. Уложены парашюты, упакованы мешки с продовольствием и боеприпасами. Таня Самсоненко и Хосе Сандоваль — в который уже раз! — проверили исправность радиостанции. Все готово! По русскому обычаю присели на минутку под крылом «Дугласа». Помолчали. Затем Шандор Ногради скомандовал посадку в самолет. За два часа до рассвета самолет вышел на прямую.

Резко уменьшается высота. Легкий толчок. Самолет, сбавляя скорость, побежал по упругой словацкой земле партизанского аэродрома Тридубы, что в 18—20 километрах севернее города Зволен.

К обеду группа Шандора Ногради прибыла в Дановали, в штаб 2-й Чехословацкой партизанской бригады «За свободу словян», которой командовал Е. П. Волянский. Группу Ногради разместили в четырехэтажном здании, где помещался штаб бригады.

Таня передала в УШПД первую радиogramму Ногради: «Благополучно прибыли Зволен. Сейчас находимся в гостях Волянского. Жду указаний».

В вечерний сеанс радиопередачи пришел ответ. Начальник штаба генерал-лейтенант Т. А. Строкач приказал после уточнения обстановки и обмена информацией со штабом 2-й Чехословацкой партизанской бригады следовать к месту назначения для выполнения задания. Накануне отправки в расположение группы пришел командир бригады. Спросил Ногради:

— Разведчики есть в группе?

— Есть, конечно... — ответил Ногради.

— Один Бела Папп — маловато, — отозвался полковник. — Есть при прекрасных разведчиках, они из бригады Егорова. Евгений Лапшов, Федор Рубцов и Сергей Рахманов. С первого дня со мной. А сейчас проходу не дают: «Отпусти да отпусти к Ногради. Хотим, мол, в самое пекло». Я подумал и решил не возражать. Если, конечно, будет ваше согласие...

— Что вы! Такие люди нам очень нужны.

— А теперь последнее, — прощаясь, сказал Волянский и перешел на шепот: — Граница есть граница. Надо знать, где ее перейти. В этом вам поможет Янош Крупка, словак. Он живет на хуторе Абронч... — Волянский назвал пароль и отзвук.

ГРАНИЦА — ПОЗАДИ

Шли только ночью. По бездорожью, в обход населенных пунктов. Иногда, с соблюдением особой осторожности, заходили в беднейшие хаты небольших населенных пунктов, чтобы пополнить запасы и узнать о противнике и его действиях.

Ногради бодр и весел. Казалось, что он не ощущает усталости. Но это только казалось. На самом же деле длительное напряжение и трудная дорога сильно отразились на сердце. И сейчас, идя рядом с Куримским, он признался, что чувствует себя не совсем хорошо. Куримский пытался уговорить Ногради передохнуть денек-два.

— Дорог каждый час, дорогой товарищ, каждая минута, — запальчиво возразил

Шандор. — Надо спешить. Штаб этого требует. Вот перейдем венгерскую границу...

После предварительной разведки группа вошла в хутор Храбца.

Хутор как хутор: с добротными домами и безмолвными, как и в других хуторах во время войны, улицами. В один из домов постучался Мольнар, и добрейшая словацкая семья приняла на постой группу. Хозяин-старик устроил постели на полу, старуха с внучкой принялись готовить угощение.

Ногради уложили. Только постельный режим и спокойствие могли восстановить его силы. Заболела и Самсоненко. Еще накануне Таня почувствовала сильную слабость: болела голова, стучало в висках, даже при незначительных усилиях — рябило в глазах. Думала: «Поем, и все пройдет». Не прошло.

Радистку уложили в соседней комнате.

Ногради не спал. К нему подсел Александр Куримский.

— Теперь понимаете, что дальше вам двигаться нельзя?

Ногради попытался подняться на локтях и сразу же упал на спину.

— Теперь понимаю, — и через силу улыбнулся. — Оставьте с нами Яноша Мольнара и комиссара, а сами идите вперед. На разведку границы направьте Бела Паппа. Встреча всех — в Ноградсакале.

Когда начало темнеть, группа под командованием Куримского выступила в поход. Александру в то время было 37. Это был профессиональный революционер, с восемнадцати лет связавший свою судьбу с компартией Венгрии. Работал в нелегальных типографиях, с 1935 года жил и учился в Москве, имея советское гражданство. В начале Великой Отечественной войны командовал ротой, которая действовала в районе Смоленска и Ельни, вел работу с пленными Красной Армией венграми в Усманском и Хреновском лагерях военнопленных...

Ко времени выхода группы Куримского Таня проснулась, попыталась присоединиться к товарищам, но Куримский приказал ей оставаться при командире для связи.

Радистка долго лежала с открытыми глазами и где-то около полуночи заснула. Проснулась от подозрительного шороха за стеной. Открыла глаза. Прислушалась. Все тихо. Повернула голову к окну: безмолвно стояли деревья сада. Успокоилась. Повернулась на бок, невольно посмотрела в сторону приоткрытой комнаты, где спали мужчины, и в это время чуть повыше ее кровати замер на стене луч фонарика...

Вот, по описанию Татьяны Ивановны Самсоненко-Дунаевой, что произошло дальше. «У меня в то время был грипп. Температура 39—40 градусов. Временами я бредила, но не обращала на это внимания: обстановка была очень тяжелая. И вот ночью нагрянули немцы. Они подошли к хате, где мы находились, и фонариком осветили ее внутренность. Затем во дворе взорвали три гранаты. Стекла в окнах вылетели. Все заволело дымом. Ногради, Мольнар и комиссар вскочили с постелей, бросились в комнату, где была я. После этого хозяин вышел из хаты. Мы услышали, как немцы бросились к нему, начали пытать. Потом раздался выстрел, и хозяин больше не возвратился.

Что делать? Я мгновенно схватила радиостанцию, вскинула на шею автомат, крикнула: «За мной!» И прыгнула в окно. Мужчины последовали моему примеру. В дыму, через сад, добрались до забора и начали перелезть через него. Мужчины быстро преодолели препятствие. А я — с трудом, три попытки пришлось сделать, и каждый раз автомат грохотал по забору. Немцы услышали. Открыли огонь.

Все же я преодолела забор — помогли товарищи. Начала отстреливаться, чтобы прикрыть мужчин. Все прошло хорошо. Мы укрылись в лесу и оторвались от преследователей».

На третий день пути, под вечер, они были у места встречи, которая состоялась, как и договорились, на окраине Ноградсакаля, на опушке леса.

Александр Куримский доложил командиру о действиях его группы, поздравил с

выздоровлением и счастливым возвращением. Потом подошел Бела Папп. Обменялись рукопожатиями.

— Как дела? — спросил Шандор, отводя разведчика в сторону.

— Все в порядке.

— Когда и где встретился с Яношем Крупка?

— Два дня назад, в его хате на хуторе Абронч.

По дорожкам, знакомым только ему, вывел Янош группу разведчиков к одному из мостов через Ипель, в районе населенного пункта Иполтарноц, и сказал: «Вот по этому мосту и пересечете границу. Охраняется только передвижным парным патрулем». Каждые два часа выходят из вокзала два солдата и идут к мосту, потом возвращаются в Иполтарноц.

В ночь на 7 декабря 1944 года партизаны пересекли словацко-венгерскую границу, затратив на это не более десяти минут.

— Спасибо, Янош, — искренне и сердечно пожимая руку, благодарил Ногради словацкого патриота. — До встречи на свободной словацкой земле!

Позднее в своей книге «Из моих воспоминаний», которая вышла после войны, Шандор Ногради писал: «Когда мы ступили на венгерскую землю, то всех венгерских товарищей охватил боевой подъем. Все молча обнялись. В эту темную ночь ничего не было видно, но можно было чувствовать, что у многих на глазах стояли слезы».

КАРАНЧБЕРЕНЬСКАЯ БАЗА

Пути-дороги для партизан отряда Шандора Ногради заканчивались на Каранчбереньской базе.

— Еще немного. Несколько сот метров, — подбадривал Шандор своих товарищей, — и мы будем на базе.

Все знали, что она у подножья горы Каранч. Но гора почему-то не появлялась. А ведь она высокая — 729 метров над уров-

нем моря. Не видно было и неба, настолько ветвисты и густы были деревья в лесу.

Каранч выросла неожиданно, как только отряд вышел на опушку леса.

И каждый увидел вначале гору Каранч, затем огромную ель и потом только саму базу — охотничий домик графа Легради, бежавшего неизвестно куда. Теперь этот домик станет центром вооруженной борьбы с врагами — гитлеровцами и салашистами. Центром, вокруг которого объединятся все антифашисты угольного бассейна, встающие на путь сопротивления.

Партизаны Ногради еще стояли на опушке леса, а навстречу им уже бежали шахтеры с винтовками и охотничьими ружьями за плечами. Они ждали каждый день, каждую минуту: молва обогнала группу и достигла этих мест еще когда ноградцы были на словацкой земле: «Идет словацкий подполковник, с ним советские и словацкие братья. Встречайте!»

— Товарищи! Друзья дорогие! — взволнованно заговорил Шандор. — Слова бесильны, чтобы описать наши чувства.... Официальную встречу назначаю на полдень. Вот здесь, на этой же поляне. Нужно привести себя в порядок, определиться...

К домику, в котором расположились Шандор Ногради и его боевые товарищи, начали подходить командиры боевых групп сопротивления и партизанских отрядов.

Первым вошел пожилой мужчина, одетый в шахтерскую кожанку. Это был Дьюла Бандур. Коммунист. Рабочий с фабрики в Фюлеке. Командир самого большого партизанского отряда в этом районе.

— Полностью готовы под ваше начало, товарищ подполковник, как представителя ЦК нашей партии, — сразу заявил Дьюла.

— Так уж и сразу: «Под наше начальство». А как народ думает, рабочие, шахтеры? — сказал Шандор, усаживая его.

— А это они меня и послали... По их поручению и говорю.

— Очень хорошо! Рад служить своему отечеству, Коммунистической партии, вам... —

взволнованно отозвался Шандор и спокойнее: — А как вы здесь? Рассказывайте.

Дьюла Бандур сообщил данные о составе и вооружении отряда, рассказал о его боевых действиях.

— Товарищ подполковник, — доложил по всей форме вошедший к Ногради лейтенант Деже Керени. — Прибыл в Ваше распоряжение с двенадцатью солдатами.

Керени было тогда 28, он закончил педагогическое училище, много лет проработал преподавателем в школе... В 1940 году его призвали в армию, где он вел антифашистскую пропаганду. За это его уволили из армии и посадили в тюрьму.

После отбытия срока наказания — вновь призвали в хортистскую армию. И вот он перед партизанским командиром.

Следом за Керени пришел Ласло Бондар, 45-летний коммунист, рабочий с каменоломни, активный забастовщик, и другие.

В полдень на поляне собрались партизаны. Шандор Ногради поднялся на импровизированную трибуну.

— Дорогие товарищи! Мы сыны разных народов. Но нас породнили единство цели и ненависть к фашизму. Поклянемся же, что будем верны священному долгу.

— Клянемся!

Шандор, расправив в руках листок с текстом партизанской клятвы, начал читать, а более ста человек вторили ему:

— Я по собственному добровольному решению сознательно вступаю в ряды венгерских борцов за свободу. Клянусь, что всеми силами буду бороться за полное освобождение венгерского народа от его извечных врагов — немецких фашистов, а также от предателей-салашистов. Даю клятву быть верным в борьбе за свободную, независимую и демократическую Венгрию, верным историческим и святым традициям великих борцов за свободу. Во имя этой цели я готов бороться при любых обстоятельствах, соблюдая высокую дисциплинированность и, если понадобится, — отдать жизнь.

Пока продолжалась церемония принятия партизанской присяги, над строем медленно

поднималось трехцветное венгерское знамя с названием отряда.

В этот же день, под вечер, состоялось совещание командиров. Они первый раз собрались на такой большой кворум руководителей партизанской борьбы за свободную Венгрию. Тихий ветерок шелестел ветвями величественной ели над их головами. Ближе к лесу раскинулся палаточный городок. Он уже успел вырасти, обозначиться пирамидами оружия, местами умывания и чистки обуви...

С площадки развода караула послышалась команда:

— На охрану базы партизанского соединения...

Это было так торжественно, так трогательно, что все поднялись со своих мест, чтобы разглядеть, кому же выпала честь первому отдать команду в только что созданном партизанском соединении?

Это был Федор Рубцов, назначенный заместителем командира первого подразделения.

Шандор Ногради со своими боевыми помощниками Андрашем Темпе, Александром Куримским, Евгением Лапшовым и другими разместились за столом. Шандор поднял руку. Все вновь заняли свои места.

Ногради приступил к изложению плана объединенных действий. Каждая группа и отряд получили конкретные боевые задачи, район действий. Уточнены были и обговорены места и сроки связи, снабжения оружием, боеприпасами, продуктами питания и предметами первой необходимости...

Утром следующего дня специальным приказом было официально оформлено рождение партизанского соединения. Его возглавил Шандор Ногради, комиссаром был назначен Андраш Темпе. Евгений Лапшов стал начальником разведки, Сергей Рахманов — командиром взвода разведки. Таня Самсоненко осталась в подчинении теперь уже начальника радиоузла Хосе Сандовала.

В ноградских лесах и горах, в населенных пунктах, на заводах и шахтах стало множиться организованное сопротивление

фашистам. Действия партизан становились все смелее: летели под откос немецкие воинские эшелоны, освобождались колонны военнопленных, вражеские гарнизоны подвергались нападению, устанавливалась связь с наступающими частями Красной Армии,двигающимися в направлении Киштерене, значительно усилилась работа радиоузла: Таня Самсоненко теперь шесть раз в сутки выходила в эфир. Радиogramмы с разведывательными данными шли одна за другой... «На Шаторешском шоссе скопилось около полусотни немецких автомашин с солдатами и оружием». «Из Фюлике вышло до батальона гитлеровцев». «Двигается артиллерийская колонна, приблизительно 25 пушек, квадрат...»

Порой даже дивилась Таня: не более часа, как отправила шифrogramму, а уже в указанном квадрате рвутся советские снаряды, а то и бомбы...

ПОСЛЕДНИЕ БОИ

Кошут-радио каждый день приносило радостные вести: «20 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в наступление. Несмотря на ожесточенное сопротивление гитлеровцев, освобождены города: Дебрецен, Эгер, Мишкольц...»

«Ференц Салаши и его министры спешно бежали...»

«В Дебрецене создано Временное национальное собрание, выбранное населением освобожденных территорий...»

Поток радостных вестей был настолько велик, что с большим трудом, через посланцев отрядов и групп, они достигали отдаленных мест освобожденных районов.

«22 декабря в Дебрецене образовано Временное национальное правительство. Будет национальная армия. Намечается осуществить земельную реформу. Народу будут предоставлены демократические права и свободы...»

Теперь уже представители отрядов и групп, периодически вызываемые в штаб соединения, возвращались в свои подразделе-



Генерал-полковник Венгерской Народной армии Шандор Ногради. Фото 1951 года.

ления с десятками листовок. Листовки переходили из рук в руки, от партизан к населению партизанского края и далее на еще оккупированную гитлеровцами землю, во вражеские соединения и части.

Правда шла по венгерской земле.

Особо радостным событием для всех было образование Временного национального правительства. В этот день партизаны собрались в лесу и дали клятву:

«...Клянемся, что будем верными бойцами Временного национального правительства. Все его приказы будем выполнять смело, не боясь смерти...»

Еще с большей силой развернулись боевые действия партизан. Народные мстители перерезали коммуникации отступающему врагу, громили гарнизоны противника.

Когда Красная Армия вышла на рубеж реки Задьва на участке Кштерене-Шаль-

готарьян, партизаны Шандора Ногради распространили листовки-обращения к солдатам венгерских частей, обороняющих Шальготарьян, в которых сообщалось действительное положение вещей на венгерском фронте. Листовки призывали солдат дезертировать из фашистских частей, сдаваться в плен войскам Красной Армии.

24 декабря Шальготарьян был освобожден. Потрепанные части вражеских войск устремились на север. Ноградские партизаны шли по их следам.

Дом Яноша Паличика находился на южной окраине хутора Абронч. Он стоял в глубине сада и внешне напоминал украинскую хату. В этом доме и расположились Ева Кардош и Татьяна Самсоненко.

Приход партизан, да еще «из Руси», был праздником для Яноша и его жены. Хозяин дома сразу же пошел переодеваться и появился в горнице в холщовой рубашке с широкими рукавами и в белых штанах. Хозяйка суежилась у плиты, также одетая по праздничному — в рубашку с широкими рукавами и юбку с передником.

Радужные хозяева спешили накормить дорогих гостей.

Напротив, через дорогу разместился Ногради со своим штабом.

Отряд преследования вступил в хутор Абронч утром двадцатого декабря. Гитлеровцев в хуторе не было: на рассвете они покинули хутор.

Обстановка складывалась удобная. Немеческая колонна СС, только что покинувшая хутор, наверняка сюда не возвратится. Часть людей Ногради направил в разведку, часть — на проведение различных операций. На хуторе осталось ядро отряда. Выставили охранение.

Несколько дней прошло без происшествий. Ничто не предвещало опасности. К вечеру 28 декабря возвратились разведчики и партизаны с выполнения боевых заданий. Последний раз сменились дозоры. Через час — в путь.

...Оставалось всего полчаса до конца смены, как дозорный Бела Новак заметил не-

мецкую колонну. Она двигалась со стороны Мачкаюк. Бела всмотрелся повнимательнее: эсэсовцы. Около 400 человек. Это больше численности партизанского отряда в четыре раза.

Когда колонна приблизилась к хутору, надвигающиеся сумерки рассекли выстрелы.

Колонна расстроилась.

Ева и Таня, как только услышали сигнал боевой тревоги, выскочили в сад и открыли огонь из автоматов.

Ногради и его штаб вели огонь прямо из окон дома.

Гитлеровцы приближались перебежками. Большая группа эсэсовцев вот-вот достигнет сада Паличника. Ева услышала приглушенные грохотом боя слова Ногради:

— Быстро на помощь радисткам!

И сразу же из окна штаба застрочил пулемет. Таня видела, как в открытую дверь, через дорогу, в сторону дома Яноша бросились двое. Первый в нескольких метрах от сада упал, сраженный вражеской пулей. Второй благополучно присоединился к девушкам. Это был Хосе Сандоваль.

Спасаясь от разящего пулеметного огня, группа гитлеровцев откатилась. Началось общее отступление противника. Пулемет Ногради смолк.

Таня, воспользовавшись затишьем, бросилась на дорогу, к сраженному партизану. Им оказался Арпад Бандур. Таня втащила его во двор. Прощупала пульс, приоткрыла веки. Арпад был уже мертв.

Эсэсовцы собрались с силами и с еще большим ожесточением бросились в атаку. Вновь зачастили партизанские выстрелы, затарахтели пулеметы. Но, чувствовалось, силы были не равные.

Таня услышала голос Лапшова:

— Командир приказал отступать в сторону Фюлека!

Радистка обернулась и увидела расплывшееся в улыбке лицо Евгения. Она с недоумением глядела на него: начальник разведки был в эсэсовской форме.



У базы отряда. Слева направо: Ева Кардош, Сергей Рахманов, Татьяна Самсоненко. Фото 1944 года.

— Давайте, давайте, не задерживайтесь!

Лапшов поднялся во весь рост и бросился в противоположную сторону, крича по-немецки:

— За мной! Партизаны отступают. Настигнем их!

Немцы в суматохе и в темноте приняли Лапшова за своего и устремились за ним.

Уже далеко от Абрончи, в лесной гуще, Лапшов настиг колонну партизан. Она значительно поредела. Выставив по сторонам боевое охранение, колонна двигалась в сторону Фюлека, где стоял один из партизанских отрядов. Надо было объединить силы и завтра же разгромить врага.

После освобождения Венгрии в Абронче был воздвигнут памятник погибшим в этом бою партизанам.

Вечером 28 декабря Таня Самсоненко по-

следний раз включила родную «Северянку»: по Кошут-радио звучала венгерская речь. Нюгради сразу же начал переводить:

«28 декабря 1944 года Венгрия объявила войну гитлеровской Германии...»

29 декабря нюградские партизаны Шандора Нюгради встретились с румынским соединением «Тудор Владимиреску», входившим в состав 2-го Украинского фронта, и влились в его состав.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Площадь героев. Начало апреля 1975 года. Мы у здания Венгерского парламента. Легкое дуновение весны. Тридцатой весны освобождения Венгрии от фашизма!

Торжественно отметили день освобождения своей Родины от гитлеровских захватчиков народы Венгерской Народной Республики. Тепло и радостно принимали гостей — нас, русских воинов, представителей других социалистических стран, знакомили с достопримечательностями Будапешта...

12 апреля в 10 часов утра в гостинице «Олимпия» я встретился с Шандором Куримским, Яношем Мольнаром и Евой Кардош — боевыми партизанами-шальготарьянцами.

— Как живет Татьяна Ивановна? — сразу же подступила ко мне Ева Кардош (Декай). Она давно пенсионерка, накануне моего приезда в Будапешт закончила перевод на венгерский язык написанного мною документального рассказа «Через три границы» о действиях советско-венгерского партизанского отряда, руководимого Мартоном Сеньи.

— Самсоненко-Дунаева, — ответил я, — живет и работает во Львове. — И подал Еве письмо от ее боевой подруги.

«Как сложилась моя жизнь? — всматривается Ева в знакомый торопливый почерк Татьяны. — Счастливо, как и у всех моих соотечественников. После окончания войны возвратилась в Киев, в УШПД. Вскоре демобилизовалась. В 1951 году окончила

Киевский медицинский институт. Сейчас — врач-терапевт, работаю во Львове. Имею в своем подчинении «отряд» в 25 человек и я — «командир». С заместителем министра обороны республики, генерал-полковником Венгерской Народной Армии Шандором Нюгради переписывалась до конца его жизни. Хосе Сандоваль, — это я читала как-то в «Правде», — томится в испанской тюрьме. Писала Долорес Ибаррури, просила вмешаться... Семья моя — муж, сын, мама и я. Сын уж очень хорош, все расспрашивает, а я рассказываю. И, знаете, — ничего не забыто. Все помню!»

В день двадцатилетия освобождения Венгрии от фашистских захватчиков Татьяне Ивановне в парламенте республики Иштван Доби вручил высший орден государства «Знамя Республики», «за боевые подвиги, совершенные в годы, при освобождении Венгрии от фашистских захватчиков».

— А знамя вашего отряда сохранилось? — спросил я бывшего заместителя министра внутренних дел Венгерской Народной Республики Шандора Куримского.

— Как же! — ответил генерал-майор в отставке, — хранится в Военном музее. А как поживает Ефим Михайлович? Это ведь он рекомендовал к нам в отряд Таню Самсоненко.

Я ответил, что полковник Советских Вооруженных Сил живет в Москве. Недавно уволен в запас.

О судьбе некоторых других партизан из отряда Шандора Нюгради рассказал подполковник в отставке Янош Мольнар. Бела Папп и Ласло Бондар живут в Будапеште. Ласло — пенсионер. Бела работает главным бухгалтером на одном из столичных заводов. Бела Дьердь служит в Министерстве внутренних дел. Деже Керени — подполковник в отставке.

...Прошли годы. Боевая дружба отдельных людей переросла в дружбу городов, стала нерушимой дружбой двух великих народов Союза Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной Республики.

М. Кушникова

ТИХАЯ ПЕСНЬ КУЗНЕЦКОЙ ЗЕМЛИ

В сборнике статей, посвященном зональной выставке 1970 года «Сибирь социалистическая», читаем: «Произведения Шемарова интимные, камерные. Пейзажи родной природы нередко сопровождается чувство элегической задумчивости. Выдержан, мягок, задушевен их колорит». В газете «Кузбасс» в статье о зональной выставке 1974 года: «...главное качество, привлекающее в работах художника Шемарова, — их проникновенный лиризм, поэтическое отношение к миру природы... — Я — традиционник, — часто говорит художник о себе, полусуто, но с оттенком горечи...»

Заметки заставили задуматься. Каков он, художник, столь близкий к канонам классического пейзажа, и как ему удалось уловить «тихую песнь» в победном марше нашего времени? Почему именно она, «тихая песнь», звучит в его творчестве? И коль скоро художник именно ее выбрал в качестве лейтмотива, то почему он с горечью говорит о своем традиционализме? Для «тихой песни» традиционализм как раз и является, казалось бы, наиболее подходящей манерой.

В мастерской Шемарова уже с порога слышится «тихая песнь» множества пейзажей. Примечательно: в беседе Шемаров часто употребляет слова «композитор»,

«компонирование». Такие слова чаще услышишь от людей, связанных с музыкой. Все верно. Шемаров любит музыку и знает в ней толк, и не могло это не отразиться на его творчестве.

— Талант — это гармония, — говорит художник. — Прежде всего, я вижу или не вижу гармонию в пейзаже. Ведь творческий «климат» пейзажиста — это полное слияние между настроением природы и настроением художника. И такое слияние иначе, чем гармонией, не назовешь.

Гармония — главное для Шемарова. Поиск ее, стремление к ней отражаются во всем. Даже в подборе рамы. Рама картины — как бы пограничная зона между кусочком мира, изображенным художником, и реальной действительностью. И потому рама — эта на первый взгляд второстепенная величина — на самом деле несет немалую нагрузку. Рама должна незаметно и мягко «включить» замкнутый в ней прямоугольник пейзажа в ритм реальной жизни. У Шемарова — не просто выбор рамы. Это именно поиск гармонии — с учетом едва уловимых оттенков в цвете багета, в соотношении холста и его обрамления.

Разговор шел неторопливо. Шемаров не очень-то любит говорить о себе. Он скромный и немногословен. Однако, были в раз-

говоре и всплески. И тогда под видимой мягкостью вдруг обнажалась крепко заданная жизненная и творческая программа. Пейзажи переставали казаться камерными. В них проступало нечто иное — угадывалась незримая сдержанная сила, впрочем — отнюдь не разрушающая гармонию.

А «тихая песнь» слышалась неизменно. Она возникала из цветовых сочетаний, где звучали жемчужно-серые с розовым тона, сиренево-голубые гаммы, рыжевато-золотистые сполохи, черно-белые — с неожиданным разнообразием оттенков — мотивы.

Чередуются пейзажи. **«Берег в Журавлях»** — фиолетово-лазорева «врубелевская» ночь. Бирюзовое небо. Яркая, «налитая» оранжевая луна. Обычная, как будто, ночь. Но разве Пан не притаился неподалеку? Разве не он намешал фиалковой сказочности в обыденность знакомого нам берега?

— Очень люблю Врубеля, — говорит Шемаров. — Считаю его своим учителем.

«Кусочек речки». Холодноватая, даже очень холодная весна. Только начали подтаивать снега. Речка серая, снег слегка зеленоватый. Это пока еще «маленькая оттепель». **«Голубая оттепель»** — есть и она — еще впереди. **«Последний снег»** — рыхлый, серый, ноздреватый. Дома темные. Перустройство с зимы на весну, неуютность... Как при большой уборке в доме. И с тем же настроением. Это — к будущей «красоте, к празднику, к обновлению. **«Сентябрь».** Успокоенные краски осени, самое ее начало. Природа устала от яркости, готовится к отдыху. Клубятся низкие облака. Темно-серые — это уже от зимы. И все-таки чуть розовые — от неугасшего еще лета.

Серия **«Осень».** Вот «Осень» — пылающие золотом стога, небо с великолепной мозаикой облаков. Еще «Осень» — изумруд лужка, золото деревьев, грозно побуревший лес поодаль. Снова «Осень» — озимые поля.

— Плохо даются, — говорит Шемаров (Неужели? А эта мягчайшая зелень — удивительный остров среди торжествующих красок?)

— Я долго не решался писать весну, — признается Шемаров.

Но вот перед нами **«Пылающий март».** Ликующий, ошеломляющий, насквозь пронизанный светом. А всего-то — дом, сиренево-голубой снег...

Большое впечатление производит картина **«У омута».** В самой превосходной степени свойственны этому полотну шемаровские «струистость» и переливчатость мазка. Холодная, зеленоватая, сумеречная сказка. Тяжкое и притягательное колдовство омута. Омут — полноправное «действующее лицо» картины. Этот холст произвел большое впечатление на ныне покойного польского художника Александра Кобздея, профессора Варшавской академии, который посетил Кузбасс и обнаружил немало общего с Шемаровым во взглядах на искусство и манере письма.

«ПЕРЕМЕНЧИВОЕ НЕБО»

Идет беседа, как нить с клубка разматывается.

— А голубое небо писать всего труднее. Оно всегда разное. Иной раз гонишься за ним, гонишься, кажется — вот ухватил! А оно уже ушло от тебя. И все в нем опять по-новому!

Или:

— В природе все — от неба. От него — освещение, от освещения — настроение человека и настроение пейзажа... Все кругом и все мы — под переменчивым куполом неба. Такое оно прихотливое! В пейзаже, даже незримое, присутствует всегда!

И вот уже хочется назвать Шемарова — пусть высокопарно — певцом неба.

Другой виток беседы. О манере письма.

— Внутренне не могу принять голые краски. Не звучные, а именно голые, — подчеркивает художник. — Такие краски кричат, бьют в литавры. (Конечно же, литавры — совершенно неподходящий инструмент для шемаровской тихой песни).

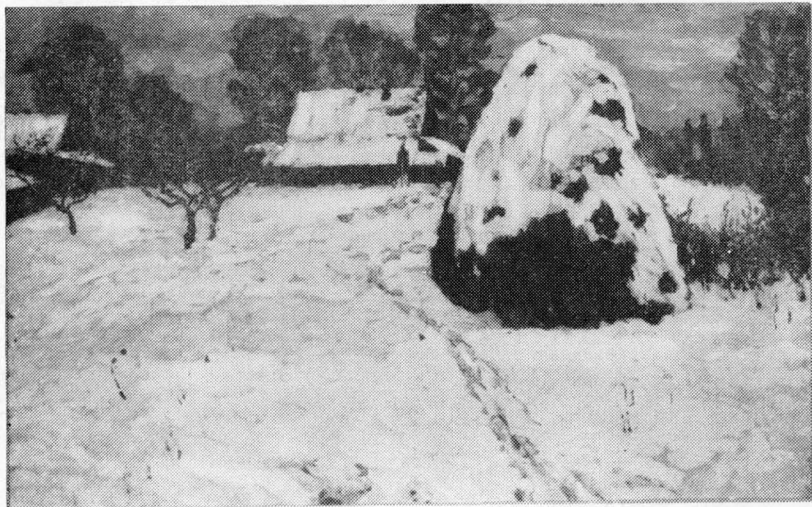
В ответ на изумление его мозаичными и

все-таки струящимися мазками Шемаров рассказывает:

— Художник Крымов, большой мастер, советовал иногда взять да поработать левой рукой. Чтобы отойти от мазка-штампа. Я иногда пишу левой рукой. Помогает.

И еще поворот в разговоре. Шемаров, который только что «писал левой рукой», исчез. Нет его. Переменчив сам, как облака, за которыми гонится.

И с природой так. В мороз, в дождь, в сыль — она все равно часть человека, как и человек часть ее. Хотелось бы мне убедить равнодушных к природе людей, что природа непривлекательной быть не может! И если порой кому-то и кажется некрасивой, так виновата не она! Виноваты люди, которые видят ее такой. Это они бывают в иные дни удивительно слепы. Найти бы мне форму, краски, которые убедили бы са-



Н. Шемаров «Снег выпал».

— Необыкновенное таится во всем. В самом заурядном пейзаже своя красота. Я люблю природу всегда, в любом ее состоянии. Только о любви говорят по-разному. Можно — в стихах, огромными тиражами. Можно — едва самому себе признаться. У меня стихами не получается. Я могу сказать о любви единожды. Шепотом. Только тому, кому это признание предназначено.

— Человек обязан быть верным своему чувству. Даже когда морщины и седины притушили блеск юности у того, кого он полюбил в лучшую пору. Впрочем, разве это обязанность — быть верным? Верность — неотъемлемая часть настоящей привязанности, родственности. Если хотите — любви.

мых «неподдающихся», что все мы, любой и каждый, обязаны хранить природу, потому что она — сама жизнь. Извечный источник жизни. Источник истинной красоты.

ГОЛОСА КРАСОК

Но что это? Может уже не художник — пейзажи его говорят? И уже вовсе не я пытаюсь продлить его мысль, а просто слышу «тихую песню» множества его холстов? Может, это их настойчивые голоса уже не вмещаются в рамки (и рамы)?

Немудрено любить солнечные острова. Они поражают воображение. Вялые эмо-

ции они пробуждают подобно трубному гласу. Пальму хочется лелеять и беречь — экзотика! Но вот серенькая, под дождем поникшая, скособочившаяся у размытой дороги деревенька — полюби! Край свой, где солнечных дней по скупому календарю положено в самый обрез — полюби! Да и можно ли не полюбить ее, неяркую, без внешних эффектов, природу? Вон она как старается! Рябиной алеет, зажигает осенью багряные факелы в лесах. Приукрасится и стоит, тихая и торжественная, под блеклым низким небом: любите меня, нехитрую, неброскую, вот моя красота!

Когда же отступила «тихая песнь»? Когда камерность обернулась гражданственностью, и негромко, но настойчиво послышались зовы осени, весны, неба, ночи, листопада? Потому что это не Шемаров, это пейзажи его утверждают: никаких сверхъестественных эффектов здесь не ищите, здесь только привычная, каждому знакомая и каждым не раз виданная природа нашего края. Она вправе требовать — и она требует! — берегите меня, люди, я уникальна! Ей, природе нашей, длинные зимы перевозмогающей, засушливые лета переживающей, с облаками дыма, газа и копоти сражающейся, красота дается ох как нелегко!

ДУША ТЕРРИКОНА

Что такое индустриальный пейзаж? Это чтобы гул БелАЗов был слышен? И чтобы экскаваторы землю грызли? И чтобы — везде трубы? Если так, то Шемаров индустриальных пейзажей не пишет. Он пишет просто пейзажи Кузбасса — такого, каким он его видит. Но что такое просто пейзаж? Только природа? А если человек во всем угадывается, только что побывал здесь, вот еще ветка колышется...

«Героем» одного из холстов Шемарова стал... террикон. «Остатки террикона» — так называется его работа. Шахта «Пионерская». Пласты уже выработаны. Стоит чуть ли не в самом городе террикон. Он городу

мешает. Молочное небо с пятном невеселого оранжевого солнца. Террикон темен, угрюм и кажется почему-то несчастным. Умом вы понимаете, что здесь он абсолютно не нужен, и надо бы убрать его поскорее. Но он — как живое существо. Он — свидетель нелегкого человеческого труда. Памятник труду. Почему-то хочется назвать эту работу «Гибель террикона». И поклониться ему, старому невзрачному террикону, с глубоким уважением. И, при всем уважении, — поскорее освободить от него город.

Особое внимание из «индустриальных» работ Шемарова привлекает полотно «Уголь шахты «Северной». Седое туманное небо, грязноватый «рабочий» снег. И эстакада, щедро сыплющая уголь — главное наше богатство. Название вполне выражает мысль художника. Человек перед сверкающей грудой кажется маленьким. В центре холста — извлеченное им из земли и для него предназначенное сокровище. В пейзаже — черно-белом — отлично выражена цветовая гамма.

— Я мог бы посадить здесь несколько цветочных пятен, и это тоже было бы вполне оправданно, — говорит Шемаров. — Но ведь шахта-то «Северная»! Предполагает ассоциацию с зимой, снегом...

Отсюда — тусклый зимний день, черно-серо-белое колористическое решение. Холст полемичен и, если вдуматься, и здесь та же гражданская нота, что и в других пейзажах Шемарова. Художник настаивает:

— Попробуйте увидеть «некрасивую» красоту будней. Увидеть в буднях праздник. Некрасивых людей, некрасивого труда не бывает, как не бывает некрасивой природы. Возможно, отсюда душа террикона, отсюда и щедрые руки угольной эстакады.

Думается, пейзажи Шемарова — отнюдь не элегии. Какая уж элегичность в упоении цветом, пронизывающим этюды «Полярный Урал»! Несмотря на сдержанность, краски сочны и ярки — сиреневая с бирюзовой синевой, болотные тени, сверканье льдов. И вместо обычной мягкой переливчатости здесь

конкретные жесткие формы, чистые цвета. («Там нельзя иначе, освещение такое, что все кажется удивительно объемным, выпуклым» — говорит Шемаров). Рядом — серия «Байкал». Зелень воды, синева гор, взвихренные волны. «Горная Шория» — сверкающие пики гор, таинственная фиолетовая дымка. «Рижское взморье» — сизые тревожные облака, зеленое море, темный холодный песок, — быть буре! Нет, не имеет оснований Николай Михайлович сетовать на свою «традиционность»! Не вынужденная она, а необходимая, неизбежная. Простота, которая приходит к художнику не вдруг, и только после переоценки многих крутых поворотов и зигзагов.

СТРУНЫ ПРИРОДЫ

Шемаров ищет и находит в природе то, что в настоящую минуту подготовлена увидеть душа художника. Отсюда — глубокий лиризм и гармоничность его пейзажей, отсюда же тот подлинный реализм, который заставляет его говорить о себе: «Я — традиционалист». С горечью? Возможно. Но только не оттого, что ему недоступны так называемые новаторские, модернистские приемы. Скорее потому, что столь немногие готовы прислушаться сейчас к «тихой песне» реалистического пейзажа и уловить в ней мотив взволнованной гражданственности.

Похоже, что Шемаров никогда не пытается «втиснуть» увиденное в свое восприятие увиденного. Он стремится изобразить само состояние природы, а не настроение, возникшее у него в результате обращения с природой. Художник-реалист идет на природу в поиске ответного звучания. Он безошибочно замечает и чувствует именно то, что в данном настроении может заметить. А уж раз он заметил, отыскал то, что наиболее соответствует его душевному настроению, то и нет нужды подгонять увиденное под свое восприятие.

Может быть, именно в этом и кроются истоки чистого реализма, столь мало ценимого эстетамы во все времена? Того самого, что присущ был «спорному» Шишкину, которого в чем только не винили, даже в том, что пейзажи его слишком похожи на фотографии...

Думается, Шемаров принадлежит к тем художникам, которые идут на природу от эмоционального импульса, чтобы отыскать в ней и запечатлеть то, что гармонирует с их настроением. В отличие от целой плеяды блистательных пейзажистов, идущих к природе за эмоциональным импульсом. Первые пишут саму природу, вторые — свое видение природы, что ничуть не мешает их работам с полным основанием занимать достойное место в сокровищницах мировой живописи.

Художник-реалист подобен музыканту, для которого природа — драгоценный инструмент, откликающийся на каждое его прикосновение в родственном ключе. Иные художники, — те что идут к природе за эмоциональным импульсом, — подобны чувствительным инструментам. Чтобы зазвучали струны, нужна рука музыканта. И тут природа выступает в роли блистательного музыканта.

Когда художник Нисский, не боявшийся никаких живописных приемов, кроме малоталантливых, побывал на академической даче, где в то время Шемаров готовил пейзаж для творческого отчета, он увидел там работы многих столичных «сокрушителей традиций». Сам Шемаров поглядывал на их полотна с опаской: «Куда мне с моим традиционным реализмом». Нисский, новатор из новаторов, остался равнодушным к «литаврам» «сокрушителей». Но он не избежал очарования шемаровской «тихой песнью», услышал ее и внял ей.

Шемаров верен своей манере и верен природе нашего края, застенчивой скромнице, оживающей на его полотнах. Все его творчество — негромкое признание в любви этой природе.

Инна Тимошенко

«Чтоб вместе с жизнью шла строка...»

(Гражданские мотивы в творчестве поэтов Кузбасса)

Сегодня голос поэта слышен далеко: многотысячные тиражи книг, выступления по радио, телевидению, перед читателями, поездки по стране — все то, о чем так точно сказал Л. Мартынов: «Удивительно мощное эхо, очевидно, такая эпоха!» И это «мощное эхо» накладывает особую ответственность: если тебя слушают и читают столько людей, то как должно быть значительно то, что ты скажешь им! Интересны поэтому попытки наших кузбасских поэтов осмыслить связь между поэтом и читателем. Многие стихи посвятил этой теме И. Киселев. У него звучит прежде всего стремление не оставить читателя равнодушным, «прорваться» к глубинам его души, стать для него необходимым. Само назначение поэзии здесь понимается как служба ближнему, потому что автор всеми силами стремится дать людям человеческое тепло, поделиться добытыми им истинами, помочь, если надо, вмешаться.

Когда горит и светится страница,
Когда, во власти непонятных чувств,
Я от стола не в силах отстраниться —
Вы слышите? —
Я в двери к вам стучусь!

Как это соответствует духу всей нашей поэзии! Вспомним наугад: «Стучите ночью и средь бела дня: стучите — это песня для меня» (Р. Гамзатов), — та же открытость навстречу людям. Мы видим, как осуществляется в поэзии прямая и обратная связь:

нельзя стать поэтом раньше того, чем сможешь ощутить, как свои, чужие радости и боли, но и нельзя стать хорошим читателем, не умея принять «на себя» все, что хотел сказать поэт. Каждый поэт мечтает о «своем» читателе, который поймет его, которому будут созвучны его мысли и чувства. М. Небогатов так и назвал одно из своих стихотворений — «Рождство душ»:

Должен кто-нибудь вместе со мною
Загрустить, если я загрущу,
Должен кто-то любить, ненавидеть
То, что я ненавижу, люблю...

Евг. Буравлев в стихотворении, посвященном памяти С. Городецкого, рисует образ художника, целиком отдавшего себя поэзии и оставившего себе «только вечный огонь вечно новых надежд и тревог»:

Но он счастлив. Да, счастлив!
Он людям оставил богатства.
Он не мог по-иному —
Ради этого стоило жить.
Лишь бы люди — богаче,
Лишь бы люди могли восторгаться,
Ненавидеть, смеяться,
Дерзать и любить.

В этом самоотверженность художника: все богатство своей души он вкладывает в творчество и адресует его людям.

«Гражданственность — талант нелегкий» (Е. Евтушенко) и ко многому обязываю-

ций. Он предполагает верность исходных мировоззренческих позиций, остроту социального зрения, понимание всех трудностей борьбы за передовые идеалы эпохи и, конечно, высокий взлет души поэта — без этого и самые высокие идеи прозвучат в стихах лишь как лозунги и громкие слова, не способные затронуть чувств читателя. При всем этом гражданской поэзии не противопоставлена патетика — ведь она опирается самыми высокими понятиями.

Гражданственность, по-видимому, и начинается с того, что свое творчество поэт создает не только как эстетическое самовыражение и не только как отражение окружающей жизни, но и как некий общественный долг. «Я для тебя, земля моя, творю, тобою этой чести удостоен» (М. Небогатов), и эти понятия «земли», «родины», «отчества» становятся внутренне необходимыми для поэта, ложатся в основу его представлений о главных ценностях жизни.

Но, кроме этого чувства Родины, как отчества, есть еще и воспетое в поэзии чувство родной стороны, и рождает его многое: дом, семья, природа, окружающие люди... На долю многих поэтов, достигших сегодня зрелости, выпало военное полуголдовое детство, что и отразилось в их стихах, но там неизменно присутствует и другое: сам образ отчего края; и как удивительно единодушна любовь к нему и память о нем! И. Киселев показывает, как в прозаическую каждодневность буден нет-нет да и ворвется дорогое воспоминание, а с ним что-то давно забытое, сказочное, чудесное: «И как в детстве, предчувствуя чудо, замирает от счастья душа». Проникновенно писали об этом Г. Юров, В. Баянов, Евг. Буравлев и другие наши поэты.

Надо заметить, что большинство названных нами поэтов вышли из деревни, но, став людьми городскими, не порвали этой кровной связи. Пожалуй, с наибольшей лирической силой удалось отразить эту связь с «малой родиной» В. Баянову. В ответ на тревожное пение чиби́са возле родного села — «Чи вы? Чи вы?» — происходит в душе поэта прилив чувств к этой вскор-мившей его земле:

Тебя тревожно останавливают
Те немудрящие слова...
Они стоят тебя оставят
У голубеющих излук.
Они припомнить вдруг заставят
Поволглый за деревней луг...
Чтоб помнить мы не перестали, —
Под нашим небом иль чужим —
В каком краю мы вырастали,
Какой земле принадлежим.

Сибирь, как самая близкая и прекрасная родина, господствует в стихах кузбасских поэтов. К тому же, многое на этой земле построено своими руками. Не потому ли, скажем, Евг. Буравлев мог с полным моральным правом написать такие строки:

Не нужен мне блокнот с собою
Для впечатлений про запас,
Когда живу твоей судьбою,
Твоим дыханием, Кузбасс.
Когда бок о бок с земляками
Шел, одержим одной мечтой,
Ворочал бревна, землю, камень,
Чтоб ожил край необжитой.

В этом нет никакого «областничества», никакой узости взгляда, это естественный патриотизм человека, который живет не равнодушным постояльцем, а хозяином и тружеником на своей земле. И чувство гордости за эту землю тоже понятно и объяснимо: «Я сибиряк, гордился и горжусь пророчеством великого помора, что «прирастать Сибирью будет Русь» (А. Пинаев). За этими словами стоят и социалистический коллективизм, и социалистический патриотизм, и социалистическая нравственность.

Путь к гражданской зрелости труден. Ведь здесь требуется не просто овладеть каким-то фактическим материалом, но глубоко осмыслить его, не уходить от сложных, нерешенных и даже болезненных проблем, а искать на них ответ, не присоединяться бездумно к большинству голосов, а иметь самостоятельное отношение. Вот строки из стихов А. Саулова, — они недаром помещены в конце его сборника — видно, немалый путь к ним пройден:

Давайте, мальчики, взрослеть.
Давайте меньше суетиться.
Уже не розовый рассвет,
А полдень смотрит в наши лица.
...Учиться думать и молчать.
Не доверять сомнениям слепо.
Ведь не кому-то отвечать,
А нам за тех, кто будет следом.
Пора светло и горячо,
Пройдя сквозь множество вопросов,
Сказать эпохе твердо, просто:
— Я вырос. Вот мое плечо.

Гражданственность — это чувство целого. Поэзия наглядно демонстрирует, как массовые исторические движения, идеи, мысли сопрягаются с малым, с душой отдельного человека. И вот поэт что-то отстаивает, защищает или наоборот опровергает, тем самым принимая участие в судьбе своего на-

рода и мира в целом: «нет преград между миром и мной» (В. Измайлов). В этом смысле гражданственность в поэзии органически смыкается с современностью: поэт выражает то, что является самым насущным в духовной жизни его современников, он знает и чувствует, где проходят основные рубежи эпохи, он улавливает наиболее важные, глубинные, характерные процессы. Успеть за временем нелегко — его движение стремительно и сложно, но совесть и самосознание поэта не дают ему «удариться в бегство» от всех тех вопросов, которые обступают его современников. Очень хорошо выразил это состояние И. Киселев:

...И рванется эфир к перепонкам
Трескотней пулеметных рулад.
Как я мог притворяться ребенком
В мире, где не хватает солдат?!

Не сходит со страниц поэтических сборников и тема революции, а вместе с нею тема связи между поколениями: ведь этим самым сохраняются и передаются основополагающие духовные ценности нашего общества, протягиваются живые нити памяти о прошлом. Уходит старшее поколение советских людей, тех, кто с оружием в руках завоевывал и защищал Советскую власть, а выбывать из строя всегда трудно и горько. Участник революции поэт А. Пинаев выразил именно эти мысли и чувства ветерана: давно ль опирался на стремя двадцатилетний комдив, давно ли носили боевые корчагинские шинели, пели «По морям, по волнам», мерзли в засадах и сражались в боях? И вот теперь уже на молодых бросает поэт ревнивый взгляд: «И спрашиваю молча их: чем живы?» А отношения между поколениями бывают, как известно, нелегкими: у каждого из них свои преимущества и свои трудности, свой опыт и свои ошибки, неизбежны столкновения с прежними представителями, когда-то считавшимися незбылемыми — «все-таки буденновскою шашкой не разрубить сегодняшних проблем» (Е. Евтушенко). Обо всем этом с кровной заинтересованностью пишут Евг. Буравлев, И. Киселев, А. Пинаев и другие поэты. И все-таки вполне закономерно побеждает единство целей и устремлений всех поколений советских людей. Идеалы юности отцов не померкли, они в основе своей близки и понятны молодым, и в цепи поколений идеи революции остаются нетленными. Евг. Буравлев с гордостью пишет о своих ровесниках, солдатах Великой Отечественной войны: «Шла юность наша огневая,

судьбу отцов перенимая и унаследовав их кровь», а представитель уже следующего за ним послевоенного поколения Г. Юров, обращаясь к ветеранам войны, призывает своих современников: «Их верой неизбывной верьте, любите жизнь любовью их, умрите их великой смертью, чтобы остаться среди живых».

Очень убедительное гражданское наполнение получает в поэзии тема дороги, хотя, на первый взгляд, это может показаться натяжкой. На самом же деле дорога воплощает собой не только и не просто единственную для поэта жажду впечатлений, живущий в нем «дух бродяжий», но и нечто гораздо большее. Это и желание донести свое слово до людей — где бы они ни жили (вспомним традиционный для русской литературы образ поэта-странника и пушкинские строки, к нему обращенные: «И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!»), это и стремление как можно полнее узнать жизнь, увидеть и изучить свою родину.

В творчестве Г. Юрова образ дороги является сквозным, активно участвуя в судьбе поэта. Колыма, Север, где он работал и которые исколесил журналистом «не ради фразы красной, а ради правды без прикрас», стали для него и какой-то нравственной вехой:

Полярным днем, полярной ночью
Длина дороги и трудна.
И познается, между прочим,
Всему насущному цена.

(«Иду по Северу-Востоку...»)

Это не только цена тепла и света, но и любви, товарищества, а главное, это цена всех тех идеалов, которые были усвоены, но еще не проверены жизнью.

В стихах Евг. Буравлева воспеты дороги Сибири, в том числе те, которые он строил своими руками. Не раз упоминает поэт Южно-Сибирскую магистраль — это для него самая дорогая из всех дорог, которая тесно сплелась с его собственным жизненным путем. Показательно вот что: испытыв на самом себе всю прозу тяжелого труда на прокладывании этой трассы, автор ни в какой мере не утратил ощущения романтики этих буден, для него это не просто необходимая стране дорога, но и «в будущее мост», а это переходит уже в чисто поэтический образ дороги как символа творческого беспокойства.

Дорога является одним из основных образов в творчестве А. Саулова. И опять-та-

ки: поэт не просто манят уходящие вдаль рельсы — здесь проступает гражданская устремленность, желание быть там, где больше всего нужны его руки, это боязнь растратить свою молодость по пустякам, жить ниже меры своих возможностей. Стихотворение А. Саулова «Дорога» — это целый лирический монолог в честь дороги: здесь мысли о своем месте в жизни, о познании родины, России, о знакомстве с новыми людьми, о самом движении, преобразовывающем землю, — все это, овеществленное в поэтическом слове, подтверждает слова автора: «Ты, дорога, меня и вела, и знакомила, и учила».

Если же, подводя некоторые итоги, говорить о том, чего еще не хватает произведениям гражданского содержания, то кратко это можно выразить в следующем.

Во-первых, необходимо по возможности освободиться от всякой ненужной громкости, риторики, декларативности — они зачастую компрометируют самые хорошие намерения авторов. Об этом очень много писали в нашей критике, и все-таки эти недостатки остались самыми живучими. И в газетах, и в журналах, и в поэтических сборниках продолжают появляться атрибуты «ура-поэзии», где гражданская доблесть подменяется барабанным боем.

П. Майский в стихотворении «Я революции не делал...» пишет:

Я перед Родиной в долгу
За каждый час, что мною прожит...
Одно меня теперь тревожит:
Вдруг долг вернуть свой не смогу?

Думается, эти стихи не обязательные, надо возвращать долги, только и всего, об этом вряд ли стоит оповещать. Такое громкое начало — и такой пустячный вывод, хотя, конечно, намерение автора самое похвальное.

Или же в стихи нередко вторгается риторика — автор привычно берет ораторскую ноту, добываясь «пафосности», а впечатление от стиха — противоположное, он не ложится на душу. Такое встречается даже у поэтов многоопытных, например, в гражданской лирике М. Небогатова. Этот поэт обладает быстрой реакцией на злободневные события, но далеко не всегда его поэтические отклики несут в себе истинную поэзию: здесь случается и штамп, и обкатанные интонации, и поспешно срифмованные слова. Поскольку есть большой опыт, то это все сглажено, не бросается в глаза, однако, все-таки есть. Вот из последней книги «Спасибо сентябрю»:

И мы, юнцы, винтовки в руки взяли,
Как не гордиться, вспомнив этот час!
Что Октябрю верны мы —
Доказали
Своею кровью многие из нас.
И не по их ли славному примеру,
Тех, возле дзотов падавших солдат,
Шел открывать космическую эру
Гагарин, наш любимый младший брат?..

(«Ровесникам»)

Явно вторично стихотворение М. Небогатова «Это был коммунист»; к тому же, если читать его не бегом, а попробовать вдуматься в строки, то многие из них звучат искусственно и странно:

Объявил репродуктор:
— Спутник в космосе! Наш! (?)
Молча Главный конструктор
Отложил карандаш. (?)
И, волненья не пряча,
От усталости мглист, (?)
Глянул в небо: — Удача!
Это
Был
Коммунист.

Такую же ординарную продукцию «на гражданскую тему» найдем у В. Измайлова, а ведь тема взята самая что ни на есть высокая — «Партия».

Лишь партия умеет сразу
В любой беде, в любом труде
Быть равной твердостью алмазу
И неустанностью — воде.

Сколько промелькнуло бесследно таких стихов с маршеобразной строфой, общими местами, торжественно-парадными ритмами и рифмами по принципу «подходящих» слов. Здесь как раз тот случай, когда громкое плохо слышно, да и родина не внемлет чересчур громким клятвам. Впрочем, не в громкости дело. Пусть патриотическое чувство будет выражено полногласно — но только пусть это будет весомо, убедительно, неповторимо. Не обязательно говорить от имени поколения — это не каждому дано, лучше от своего имени и своими собственными словами, еще никем не сказанными, тогда это будет гражданское стихотворение не по этикетке, а по существу.

Особого упоминания требуют поэмы — те из них, в которых гражданское наполнение преобладает и которые можно было бы назвать лирико-героническими. Возьмем поэму И. Киселева «Беспокойство», посвященную

памяти солдата революции Оскара Орбета. Оскар Орбет — легендарный комбат гражданской войны, коммунист; и автор проследживает основные этапы его жизненного пути: «Я прошел по следам человека, что когда-то встречал Ильича». Встреча героя с Лениным, который произносил речь на заседании Петроградского Совета весной 1918 года, ставится в центр его биографии: «Он в себе ощутит беспокойство за судьбу революции всей» — отсюда заглавие поэмы. Хоть автор назвал свое произведение «отрывок из поэмы», но все-таки, это уже не стихотворение; однако и на поэму по уровню своего драматизма (не по размерам) оно никак «не тянет»: все прекрасные черты героя не сложились в характер — вопреки даже утверждению самого поэта: «В сердце и памяти Орбет передо мной встает, как живой». Нам вполне понятно уважение и восхищение автора славным бойцом революции, но Киселев делает как раз то, чего в начале поэмы обещал не делать: «Голос, в ложную медь не ударься!» «Меди» получилось многовато, а если уж взята такая интонация, то она требует веских, точных, западающих в душу слов — о поэме этого не скажешь, к тому же в ней используются не свойственные Киселеву внешние эффекты. Например, Оскар Орбет умирает, произнося торжественную речь на конференции — так оно и было в действительности, но взятый автором маршевый тон коробит, и не возникает ощущения трагичности, которому здесь самое место — уходит из жизни «революции верный солдат»:

— Час, предсказанный Лениным, пробит.
Цель близка и с пути не свернуть!..
И с трибуны спускается Орбет,
Завершая свой жизненный путь.

Прибегает автор и к другим подобным же приемам, пытаюсь во что бы то ни стало добиться масштабности героического характера и отразить свое восхищение им, но сам-то герой поэмы все-таки лишен качества «саморазвития», неповторимой человеческой индивидуальности:

Он стоит на трибуне, не горбясь,
По-солдатски и прям, и не стар,
И друзья его шепчут:
— Наш Орбет...
И с любовью:
— Железный Оскар.

Он седой.
А слова его юны,
Глубоки и, как правда, просты,

Потому что он видит с трибуны
Коммунизма живые черты.

Здесь тот случай, когда прекрасный жизненный материал, несущий действительно гражданское содержание, не отделился в соответствующую этому содержанию художественную форму, она получилась искусственной, неудачливой — во всяком случае, в отношении такого талантливого поэта, как И. Киселев, давшего образцы органичного слияния содержания и формы в стихах о природе, о любви, о творчестве. Наверное, это еще раз подтверждает, что «гражданственность — талант не легкий».

Наконец, в этом разговоре невозможно обойти и такую насущную проблему, как изображение поэзией человека труда — гражданское наполнение этой темы вряд ли надо доказывать. Поэт, живущий в таком крупнейшем и бурно развивающемся промышленном центре, как Кузбасс, не может пройти мимо его основной ударной силы — рабочего класса. Именно это нас интересует более всего: как отразилась в поэзии трудовая жизнь нашего края, какие характеры людей, их качества, мысли, чувства привлекли поэтов, какие здесь вырисовываются перспективы?

В сравнении с такими «заповедными» областями поэзии, как лирика любви, природы, философских размышлений, тема труда имеет несравненно меньше литературных традиций, здесь поэту чаще приходится прокладывать собственные тропы, а это нелегко. Трудность в том, что если поэт не прошел соответствующей жизненной школы и вынужден смотреть на производственный процесс со стороны, он нередко поддается такой иллюзии: стоит побывать в цехах завода, на шахте, стройке — и «образы» для поэзии готовы, забывая о том, что одних наблюдений может оказаться мало, а требуется и еще глубокое психологическое проникновение в сущность изображаемого. Ну и, конечно, приходится еще преодолевать барьер «непоэтичности» этой темы, ее кажущейся прозаичности. Все это, очевидно, служит камнем преткновения для поэзии, потому что художественное освоение этой темы, о котором мы сказали выше, есть процесс очень противоречивый и сложный.

Если выделить поэтов, в наибольшей степени тяготеющих к данной сфере, то прежде всего необходимо назвать имя Евгения Буравлева. В его творчестве наглядно отразились и достижения, и слабости в поэтическом воплощении жизни рабочего класса. Этот поэт, прошедший хорошую

трудовую школу, не нуждается в том, чтобы специально данный предмет изучать, «подглядеть» или «подслушать» нечто из жизни рабочего коллектива, само же производство, вернее сказать, строительство (сам он работал строителем) в его стихах не фон и не декорация, а реальное место действия и реальная жизненная атмосфера.

В стихах Буравлева несколько лирических потоков. Прежде всего, его влечет красота и преобразующая сила труда, и это он поэтизирует. Ему хочется передать захватывающий ритм работы, и здесь даже прозаические производственные термины начинают звучать как музыка труда: «И целый день над пробужденным миром, над строящимся городом кружа, звенеть не перестанут «Майна» — «Вира!», взрываясь эхом в гулких этажах». Умеет поэт передать и ту особую красоту, которая исходит от человека, увлеченного своей работой, будь то малозаметный труд рабочего «на подхвате» или модельщика, мастера своего дела:

И начиналось колдовское действо,
И оживало дерево в руках.
Он мыслил — и являлось озаренье,
И на глазах у всех рождалась вдруг
Модель отливки — как стихотворенье,
Как сплав талантов — разума и рук.

(«Модельщик»)

Необыкновенно поэтична девушка-крановщица — «вся легкая, светлая и голенастая, по лесенке спешит под облака» («Настя»).

Вместе с тем Буравлев стремится воссоздать и героическое начало труда. Частые сюжетные ситуации его стихов — работа в исключительно трудных условиях: строительство дорог через тайгу, укладка труб на самых дальних участках пути, монтаж оборудования в мороз, пургу, затяжные дожди. Это те случаи, когда от людей требуется умение преодолевать не только внешние обстоятельства, но и собственные слабости, то самое будничное каждодневное преодоление, которое не принято называть героизмом, но которое по сути своей лежит в сфере героического. Повествование от собственного «я» придает этим стихам особую убедительность: «Как поднять их, промокших, уставших, и какими смотреть глазами, если дочка моей не старше та вон девочка из Казани?» Буравлев сумел показать немалое мужество людей, их убежденность в необходимости своего дела и способность вкладывать в него душу, без всякой, в общем-то, жертвенности. Его герои

не размышляют там, где надо действовать. Типично в этом смысле стихотворение «Вот и опять не шагнуть за порог...», где описано, как рабочая бригада выходит в морозную пургу восстанавливать связь на участке Бискамба — Абакан: «Со шквальным ветром, со снегом по грудь два дня продолжалась борьба. От столба к столбу дотянуть как-нибудь и еще — от столба до столба». Отсюда естественно рождаются и такие ситуации, когда преодоление трудностей перерастает в подвиг: такова «Баллада о сапере», герой которой жертвует своей жизнью при взрыве скалы на прокладке Южносибирской магистрали. Автор не считает нужным скрывать, что события его стихов жизненно документальны, а герои — действительно существовавшие люди. Они ему бесконечно дороги и близки — ведь сам он работал рядом с ними, и потому, когда Буравлев пишет о самом себе, о своей преданности рабочему братству, то это невозможно воспринять как громкие слова, это — правда.

Нет, никогда я не жалел,
Что изо всех дорог
Я выбрал ту, где больше дел,
Где под дождями дроз,
Где труден путь, как перевал,
Где пот не раз прошиб.
И если б снова выбирал,
То выбрал бы Южсиб.

(«На Южсибе»)

Присутствует в стихах Буравлева и романтическая струя. Она ощущается, в частности, в том, что тяжелую эту работу он рисует как путь в прекрасное будущее, как нечто затрагивающее высокие струны человеческой души. Это чувство в особенности усиливается в соприкосновении с суровой и величественной природой Сибири, которая очень органично вписывается в стихи о труде.

Рабочему классу целиком посвящены поэмы Буравлева «Первая плавка» и «Красная горка». Эти поэмы уже не раз были проанализированы в нашей литературной критике, и потому отметим только, что наряду с откровенными слабостями в них содержится, если можно так выразиться, панорама труда — годы первых пятилеток и наши дни, недаром один из героев «Красной горки» Софрон Кусургашев может сказать о себе: «Несли вот эти плечи весь груз истории самой».

Если для Буравлева человек труда — главный герой его творчества, то для дру-

гих кузбасских поэтов, в силу их жизненной биографии, индивидуальных особенностей, эта тема является одной из многих или же никак у них не представлена. Это не является упреком, потому что никакую тему нельзя поэту навязать; и если, например, Виктор Баянов, много лет работая машинистом, свои лучшие стихи написал вовсе не об этом, то значит, не предрасположен к этому его талант. Но тут же хочется сказать и другое. Советский поэт должен уметь уловить, понять, какие проблемы являются для данного времени и для его общества особенно важными, что называется животрепещущими, и повернуться к ним лицом. Это вовсе не означает конъюнктурщины, это просто необходимые чуткость и внимание к тому, чем живет современник, чем живут его страна и народ. Вопрос о роли и месте рабочего класса в нашем обществе, о его социальном, духовном, нравственном потенциале — один из важнейших, а значит, требует, чтобы и искусство, в том числе поэзия, как-то «отвечествовали» этому. Это и есть социальный заказ. Например, стихотворение И. Киселева «Возьми, Запсиб, меня в ученики...» было написано к десятилетию Запсиба и, скорее всего, по особой просьбе — но ведь прекрасное получилось стихотворение, хоть автор и оговаривается: «Моя тропинка, судя по всему, на миг с твоим пересеклась разливом и в сторону ушла...» Да, Киселев в своем творчестве пишет о другом, но и этот миг пересечения оказался плодотворным, и надо думать, это не для красного слова сказано автором:

И пусть, Запсиб, средь мастеров твоих
Не мастером я буду — подмастерьем,
Дай мне надежно выверить свой стих
Тем, что мы строим.
Тем, во что мы верим.
Придай накал звучанию строки.
Возьми, Запсиб, меня в ученики!

Когда мы говорили об активном освоении этой темы кузбасскими поэтами, то как раз я имела в виду, что у многих из них есть такие стихи, и немало образов шахтеров, строителей, химиков и тружеников многих других профессий встает со страниц поэтических сборников. Все дело в их качестве, и здесь не уйти от серьезного разговора на эту тему.

Прежде всего, в стихах о человеке труда встает проблема изображения личности, характера, другими словами, художественной самостоятельности образа, его индивидуальной неповторимости и жизненной кон-

кретности. Вот этой-то живой, мыслящей и чувствующей личности и не хватает часто стихам наших поэтов, и много здесь не выполненных намерений и нереализованных заявок.

Шахтер, сварщик, горновой, строитель в стихах такого рода — все это лишь какие-то обобщения, люди вообще. В. Махалов, например, написал о герое труда:

Вот он идет. Его размахист шаг,
Полгоризонта заслонили плечи.
И жизнь его, как правда, хороша
Во всем ее величье человечьем.

Вот образ шахтера у М. Небогатова:

В спецовке, в каске неизменной,
Держа отбойный молоток,
Он задержался перед сменой,
Он загляделся на восток...
И как ответный проблеск звездный —
Победный взгляд в прищуре века.
Казался вылитым из бронзы
Величественный человек.

Похвально, конечно, стремление воспеть человека труда, его величие, силу и красоту, но дело в том, что современному читателю давно уже мало «бронзового» монументного героя, вознесенного на поэтический пьедестал, — он жаждет в искусстве человека живого и внутренне богатого. Поэтому монументализм в такой вот его форме — явление давно отжившее. Сегодня не рабочий вообще, а духовно богатая личность властно заявляет о себе в жизни, а значит, и в поэзии; и когда этот образ создается по «типовому проекту», то это вызывает внутренний протест, чаще же — просто равнодушие.

Еще один очень распространенный вид стихов о труде — это стихотворный репортаж, отклик на ту или иную трудовую победу. Против них ничего нельзя возразить по существу, они имеют право на существование и привлекают своей оперативностью, сиюминутным отражением жизни. Говорить приходится лишь о том, что очень часто из них получаются стихи-однодневки: вместе с отошедшим в прошлое событием, которое послужило их жизненной основой, они тускнеют, обнаруживают свою очерковость, скороспешность, и вряд ли у кого-нибудь когда-нибудь появится желание их перечитать. А ведь такие стихи есть у поэтов, знающих цену поэтическому слову, — у Небогатова, Махалова, того же Буравлева.

Требуется осторожности и мера изображе-

ния самого производственного процесса в поэзии, чтобы это производственное не перетягивало человеческое, не заменило бы собой подлинно художественную образность. Многих наших поэтов вдохновило крупнейшее предприятие Кузбасса — Запсиб, но вместе с хорошими, теплыми словами, значительными человеческими образами сколько словесного мусора, всевозможных производственных терминов, вовсе не являющихся необходимыми, мелькает здесь.

И производственные термины, и документально точные имена героев, и названия предприятия — все это ни в малейшей степени не спасет поэта, если за этим не стоит внутренний мир человека, самого рабочего. А этот мир богат. Социологи свидетельствуют, что большие группы рабочего класса являются интеллигентами по своему уровню. Уже не только рабочие руки, но и интеллект мощно проявляет себя в труде, и под его воздействием все сложнее становятся человеческие отношения, тоньше чувства, глубже духовные потребности — рабочий выступает и как преобразователь жизни, и как преобразователь самого себя.

Может ли все это заслониться в поэзии приблизительными внешними атрибутами?

Человек и труд — генеральная проблема нашего времени, и это требует от поэзии пристального взгляда на все происходящее в этой сфере процессы. Чем дальше движется жизнь, тем богаче становится духовное содержание труда — из этого надо исходить.

Мы видим, сколь многообразно проявляет себя гражданское содержание поэзии. Родина, труд, связи поколений, общественный идеал — все эти проблемы составляют основной нерв нашей сегодняшней поэзии, где бы она ни развивалась, — в центре или на периферии. Здесь соединяется воедино все: духовное, социальное, нравственное, здесь от поэта требуется то самое качество, которое так четко сформулировал Евгений Буравлев в одном из своих стихотворений, строку из которого мы и вынесли в заглавие этой статьи:

Чтоб вместе с жизнью шла строка:
Плечо к плечу,
К руке рука!

Людмила Глебова

Геннадий Емельянов и его книги

Вышла в свет книга Геннадия Емельянова, в которую автор включил два произведения — повесть «Хочу удивляться!» и роман «Берег правый». Соединение этих двух произведений в одной книге совершенно естественно и закономерно: написаны они почти одновременно и по одним и тем же впечатлениям — от увиденного и пережитого на строительстве Западно-Сибирского металлургического завода.

Произведения эти имеют уже свою историю, читатель встречается с ними не впер-

вые: одиннадцать лет назад, в 1965 году, в журнале «Сибирские огни» появилась первая редакция романа «Берег правый», а в альманахе «Огни Кузбасса» — повесть «Лед тает весной», при издании отдельной книгой в Кемеровском книжном издательстве (1966) получившая новое название — «Хочу удивляться!» Впоследствии роман «Берег правый» выходил отдельной книгой в Кемерове (1967) и массовым тиражом в Западно-Сибирском книжном издательстве (1969).

Хотя ни в том, ни в другом произведении не дается прямых указаний на адрес происходящих в них событий, совершенно ясно, что описывается автором хорошо им знаемое — строительство металлургического гиганта в Кузбассе.

Стройка эта сыграла огромную роль в творческой судьбе журналиста Геннадия Емельянова. Четыре года — с 1959 по 1962 — работал он редактором многотиражки «Металлургстрой» на строительстве Запсиба. Многотиражка эта могла бы по праву называться горячим цехом, хотя завод только еще начинался строительством и до горячих цехов было очень далеко — да, газета эта могла бы так называться, потому что была боевым штабом комсомольской стройки: сюда доходило каждое ее дыхание. С сотнями людей приходилось встречаться журналистам почти каждый день. И не только в редакции. В основном, на строящихся объектах. Сотрудники этой редакции хорошо знали на стройке — не только по публикуемым в газете материалам — знали в лицо. Они всегда были рядом, в самые необходимые и трудные минуты.

Здесь, на Антоновке, все поражаало воображение: колоссальный размах стройки, многолюдье и разноязычье, количество техники, важность происходящего. Рождалось и крепло убеждение: здесь самая интересная, самая значительная и самая достойная для настоящего человека жизнь. Стройка стала большой привязанностью журналиста. О работе в редакции тех лет писал один из ее сотрудников, сейчас известный писатель Гарий Немченко: «Нас в редакции четверо, всем нам вместе недавно стукнула сотня лет. Мы — старики. Наша обязанность ломать голову так, чтобы нашу многотиражку рвали с руками. Трое из нас — Колумбы. Четвертый — испанский король, который каждый день посылает нас открывать новые земли. В этом смысле он так жесток, что настоящие короли не годятся ему в подметки. Правда, и открывать новые земли на нашей стройке не так уж и трудно. Поднимешь воротник и выходишь на улицу. И вот уже новенькая десятитонная каравелла, выпущенная в прошлом году Краматорским заводом, дымя снегом, уносит тебя на край света — туда, где уперлась в хмурое небо стометровая железобетонная труба ТЭЦ, где монтажники, как дятлы, висят на стальных конструкциях тепляка жоксовой батареи... Потом все мы ходили по стройке пешком, и у каждого стало столько друзей и знакомых, что мы терялись, когда какой-нибудь заезжий

корреспондент спрашивал с детской непосредственностью: «Есть у вас, товарищи, интересные люди?»...

И как бы ответом на этот вопрос стала первая книга о строительстве Запсиба, книга, написанная двумя молодыми журналистами, Геннадием Емельяновым и Гаррием Немченко — «Когда друзья рядом». В начале 1961 года они принесли в издательство огромную рукопись, которая состояла из коротких новелл о строителях Запсиба. «Выбирайте лучшее, материала хватит», — сказали авторы рукописи редактору.

Такую книгу не напишешь в кабинетной тиши. Новеллы и очерки (жанры названы условно) были созданы по горячим следам событий, они похожи на моментальные фотоснимки, сделанные в яркой вспышке света.

В аннотации к этой книжке редактор писал: «Два молодых журналиста лицом к лицу увидели то, что мы называем романтикой труда. Они увидели, как настоящая дружба делает человека сильным. И рассказали об этом просто, сердечно, искренне.

Авторы рассказов так же молоды, как и их герои. И, может быть, поэтому книга покоряет читателя родниковой чистотой чувств и непосредственностью».

Все в этой маленькой книжке жило, дышало подлинностью жизни — все было не выдуманно, книжка свидетельствовала об острой наблюдательности ее авторов, кровной заинтересованности в изображаемом.

Жизненные впечатления так и просились на бумагу. Нужно было лишь отбросить второстепенное, «стереть случайные черты», чтобы убедить читателя: «мир прекрасен».

Молодому автору, выпускнику журналистского факультета МГУ Г. Емельянову, помогал предшествующей работе на стройке четырехлетний опыт газетчика.

А стройка вела дальше, учила понимать глубинные процессы жизни и видеть ее проблемы.

Разнообразие, пестрота впечатлений не заслоняли главного: понимания того, что металлургический гигант создают крошечные, невидимые порой на фоне этой грандиозности люди.

Именно они решают судьбу всего большого дела, от их ума, добросовестности, трудолюбия и честности зависит все.

Одновременно укреплялись презрение и ненависть к тупому мещанству, ко всем видам приспособленчества. Емельянов пишет небольшую книжку рассказов «Друг — Серега» (Кемерово, 1964), отдельным изданием выходит очерк о прославленном предсе-

датель колхоза имени Димитрова Новокузнецкого района К. Н. Дегтяренко «Глубокая борозда» (Кемерово, 1965). Этот человек, с которым Г. Емельянову пришлось столкнуться во время работы в сельской газете, пришелся по душе журналисту глубочайшей преданностью делу, умением решать самые, казалось бы, неразрешимые хозяйственные проблемы, оригинальностью мышления. Такие люди давно и все больше интересовали Г. Емельянова. Хотелось понять их, рассказать о них.

Стройка давала примеры разных характеров и разного отношения к делу — экономические проблемы шли рука об руку с морально-этическими.

Так появилось почти одновременно два произведения о Запсисе — повесть «Хочу удивляться!» и роман «Берег правый».

Оба произведения отразили начальный этап строительства со всеми его сложностями. При всем несходстве этих произведений по подаче материала и объему изображаемого их роднит общий авторский поиск: **поиск подлинной человечности в человеке.**

Г. Емельянов писал в предисловии к роману «Берег правый»: «Подспудно и давно меня волнует проблема: Дело и Человек. Не надо думать, что вот, мол, сперва нам хлебушко насущный, а после — все остальное. Так не получится: мы ведь делаем будущее не только в его материальном воплощении, но и гражданина будущего делаем! Одно от другого неотделимо, и нельзя допускать, чтобы человек только давал, растворяясь в большом деле — он должен приобретать и накапливать моральные ценности. На первом месте, даже на так называемом переднем плане, остался все-таки **ЧЕЛОВЕК**. Эту мысль я положил в основу романа «Берег правый», который писал долго и мучительно, потому что «фактура» давила на мои хрупкие плечи с неимоверной силой».

«Фактура» — многознание о стройке, в котором нужно было тщательно разобраться и которое нужно было умело обобщить, спрессовать и творчески переосмыслить.

Читатели и критики отмечали, что автору удалось это сделать, что произведение о стройке написано «изнутри». Критики отмечали современность героев романа «Берег правый», которую они видели в большой степени ответственности его героев за себя, за окружающее, за свое Дело. Лучшие образы романа «Берег правый» объединены мыслью: «Строю свой завод, я — хозяин, я отвечаю за стройку».

Молодые герои романа в этом самосоз-

нании — преемники старших поколений. Тема преемственности четко ощущается в таких сопоставлениях, как Наумов — Катков — Пантелеевич — молодежь, Вика Качаева — ее отец.

Автор поднимает в романе много других волнующих и злободневных вопросов. Кто настоящий, современный рабочий, какой он человек? Ошибся Бессонов, принявший Трошина за образец героя наших дней. Настоящий герой — Петр Быков, за его резкостью и грубостью — глубочайшая преданность работе, Делу. Трошин же — ловкий приспособленец.

Автор романа «Берег правый» художественно анализирует очень важный и по сию пору злободневный вопрос: «А что такое трудовой героизм? Что такое романтика первых трудностей? В чем она должна заключаться?» И убедительно доказывает: героизм и романтика не в том, чтобы преодолевать неувязки, неразбериху, созданные неумелым руководством, непродуманностью, нечеткостью постановки всего дела. Грош цена «добавочному героизму», затрачиваемому на такие искусственно созданные «трудности».

Очень правильно оценивал эту важную мысль романа критик А. Абрамович:

«Емельянов не столько увлечен критикой того, что было, сколько очень здоровой постановкой вопроса: а нельзя ли сделать и вообще делать так, чтобы романтика первоначальных трудностей все более исчезала, а разумная организация строительства и романтика труда, обусловленная такой организацией, возрастала?»

Короткая лирическая повесть «Хочу удивляться!» решает, казалось бы, отдаленный от этих проблем вопрос о внутренней доброте, мягкости, чуткости человека ко всему окружающему.

Но связи между произведениями нет лишь на первый, поверхностный взгляд. Для чего же нужны все усилия огромных масс людей, для чего же нужно это грандиозное строительство, для чего — в конечном итоге — металл, который будут выплавлять домы и мартены, нужен, чтобы облегчить и украсить жизнь людей, — для чего все это, если люди-то будут черствые, внутренне убогие, не способные понять красоту окружающего мира и красоту человеческой души!

Герой повести «Хочу удивляться!» взывает к нашим чувствам: «Я по-прежнему стою на своем: надо, надо удивляться... Ты где-то в самой сердцевине добрый человек, но боишься проявить себя без оглядки, чтобы тебя не сочли наивным. Ты не один та-

кой... черствый по обстоятельствам, что ли... свет в нас самих, и тьма тоже. Но не дай свету погаснуть!»

Свет и тепло были в Васе Залыгине, в Гале Ключко. «Вашим теплом грелись многие. Только не сдавайтесь, только не уставайте! Вот мое напутствие в дальнюю дорогу!»

Повесть «Хочу удивляться!» — грустная повесть: мы расстаемся с героями ее в тяжелую пору их жизни: Галя надолго прикована к постели болезнью, Вася Залыгин тяжело переживает трагедию своей любви и вину за то, что оставил стройку.

Записным оптимизмом здесь и не пахнет. И все же повесть внутренне оптимистична.

Закрывая последнюю ее страницу, читатель может повторить слова Семена Галенко: «Мы ведь никогда не научимся легко терять друг друга. Но я потерял и приобрел. И стал богаче. Стал богат вот этой грустью, прошлым, в котором столько хорошего».

В 1968 году Геннадий Емельянов был принят в Союз советских писателей. С тех пор прошло почти восемь лет. Написаны новые книги. Видимо, у каждого человека, писатель он или нет, наступает пора, когда ему хочется понять первоисток своей души. Тогда он обращает свои взоры к прошлому, к детству, к юности. Обращение к поре своего студенчества у писателя Емельянова вылилось в повесть «Далекie города». Книга вышла в Кемерове в 1972 году.

Юноша Федор Ананьин, приехавший из села в большой город учиться, действительно не учится понимать жизнь. Не институтские науки дают ему это необходимейшее знание, а окружающие люди: фронтовик Алексей Волгин и никчемный Владлен Кулагин, старый интеллигент Титков и председатель колхоза Яшин. И бывшая коммунистка и активистка Анастасия Федоровна Кулагина, переродившаяся в потребительницу благ, также учит его разбираться в жизни. Повесть направлена против воинствующего мещанства, за подлинную доброту и человечность.

Какая она, доброта? Как у тихого, отошедшего от дел Титкова? Как у неуравновешенного, эксцентричного правдолюбца Яшина или как у активного, убежденного в своей правоте и обязанности вмешаться во все происходящее и считающего себя ответственным за всех и все коммуниста Лешы Волгина?

Конечно, правда и доброта Лешы Волгина — высшая и необходимейшая правда и доброта. Читатель с болью прощается с умершим от осколка в сердце Лешей Вол-

гиным, грустно расставаться и с Федей Ананьиным: не все еще ясно ему в жизни, мучают нерешенные проблемы. Но читатель спокоен за Федю: Федя научился и чувствовать, и думать. Он не только понял, что жизнь непростая, но сердцем воспринял доброту Алексея Волгина. Эта доброта уже дала ростки в душе Федю.

Привлекателен образ председателя колхоза Яшина в повести «Далекie города». Руководитель хилого послевоенного хозяйства, едва сводящего концы с концами, Яшин мечтает о новом, благоустроенном, богатом селе, похожем на город — так красиво и славно будет всем живущим в этом селе. Он несколько чуждаковат в своей наивной мечтательности, хотя делает все для осуществления своего замысла, делает порой не так, как предписывают законы. Он немножко рано мечтает о таком селе — ведь прошло всего пять лет после окончания Великой Отечественной войны, и еще многие села и деревни стоят в руинах. А Яшину веришь, сочувствуешь, его успеваешь полюбить.

Писателя всегда интересовали люди с «особинкой», «чуждинкой», люди, не похожие на других, — такие, как Яшин, такие, как Дегтяренко, хотя один из них — вымышленный герой, а другой действительно существующий в жизни. Это — энтузиасты своего дела, фанатически, до самозабвения преданные мечте о лучшей жизни для многих.

Таких писатель ищет, таких замечает, о таких старается писать. Они дороги ему внутренней цельностью и убежденностью, верой в идеал, — видимо, отсюда их некоторая чуждаковатость и необычность.

Таковы герои новой книги Г. Емельянова, книги очерков о доменщиках Кузнецкого металлургического комбината «Капля из моря» (Кемерово, 1975). Три очерка, составившие эту книгу: «Капля из моря», «Мой знакомый Эдисон», «Лукиян Селицкий, доменщик», живо, увлекательно рассказали о тех, кто создает материальные ценности в трудной работе и творческих поисках и — одновременно — формирует свою личность.

Связь с заводом у писателя давняя, крепкая, и книга эта — только начало, первая из задуманной им серии книг о тружениках огромного заводского коллектива металлургов.

Новые аспекты проблемы «Дело — Человек» предстают перед писателем, и хочется ему исследовать их на этом обширном и сложном жизненном материале.

Имеет в виду писатель одновременно и другую задачу, о которой он сказал в сво-

ем обращении к читателю книги «Капля из моря»:

«Кузнецкий комбинат с момента его зарождения был в первом эшелоне сперва тяжелой и неистовой борьбы за индустриализацию, после же, в Великую Отечественную войну, сделал мыслимое и немыслимое для победы над врагом. Роль КМК в судьбе Советского государства поистине неопенима. Так разве можно с легким сердцем предать забвению имена людей, которые отдали себя без остатка, чтобы были мы, было солнце и небо? О героях индустриализации и тыла, к сожалению, сказано мало и сказано скупо. Я стараюсь по мере своих сил и возможностей отдать должное тем, кто ушел, кто уходит. Хочу, чтобы о них помнили дети и внуки».

Критика по достоинству оценила книгу очерков Геннадия Емельянова о кузнецких металлургах, отмечая, что очерки написаны «не холодным пером историка, — «пророка, мыслящего назад», а человеком сегодняшнего дня, которому дорого не только славное

прошлое Кузнецкого комбината, но и его теперешние трудовые будни, дорог завтрашний день. И писатель умело объединяет эти три временных потока в сложных и интересных судьбах ветеранов этого предприятия, в их учениках».

Особенной удачей писателя в книге признан очерк о доменщике Лукьяне Селищком, человеке щедрой души, талантливым, оригинальным. В создании этого образа счастливо соединились журналист и писатель Емельянов.

«Капля из моря» — один из многих замыслов писателя. А замыслено много и разное: в работе повесть о молодом журналисте, сотруднике районной газеты, задумано произведение о старом рабочем, металлурге, набросаны фрагменты романа о человеке «с особой большевистской душевной емкостью», умеющем не только мечтать, но и воплощать мечты в жизнь и светить другим, вчерне закончена юмористическая повесть. Писатель в работе. Писатель в поиске. Познание действительности продолжается.



А. Бродский

К ВОПРОСУ ОБ АКСЕЛЕРАЦИИ

— Наметились следующие парочки,— доложила на педсовете классный руководитель 8-го «В» Галина Валентиновна.— Их у меня три. Первая: Света Петренко и Костя Столбов.

— У Столбова с квадратными уравнениями нелады,— проворчал математик.

— Не знаю...— подала голос историчка.— Английскую буржуазную революцию он отвечал мне назубок.

— Да, он симпатичный мальчик,— выразила свое отношение к Столбову молоденькая англичанка.

— Попрошу не отвлекаться от сути вопроса,— посмотрела в ее сторону завуч.

— В спринте Света тянет на третий разряд,— сдержанно заметил физрук.

— Улыбочка у нее на уроках бывает... а... несколько вызывающая,— сказала седовласая учительница по языку и литературе.

— Ваше мнение? — обратилась завуч к Галине Валентиновне.

— Вообще-то предлагаю утвердить. Но при условии, что Света Петренко будет вести себя в школе скромнее, а Столбову придется теперь всерьез заняться математикой...

— И только так! — воскликнула завуч.— В этом, собственно, и есть основной смысл экспериментального применения нами методики не пресечения или ограничения, как в былые времена, а способствования пробуждению первого чувства с целью использования этого важного фактора в жизни нынешних подростков для повышения их успеваемости и укрепления дисциплины.

Все с пониманием и одобрением закивали головами, лишь седовласая учительница по языку и литературе скептически поджала губы.

— Петренко и Столбова утверждаем,— подвела черту завуч.— На следующем педсовете доложите, Галина Валентиновна, о полученных результатах. Какие еще кандидатуры?

Когда следующая парочка из 8-го «В» была утверждена, а принятие окончательного решения по третьей отложили до выяснения некоторых обстоятельств, слово снова попросила классный руководитель.

— Вот еще что у меня,— сказала она.— Парочка Кира Голубева и Володя Касьянов, которую мы утвердили ранее, распалась.

— Почему? — удивилась англичанка.— Они оба такие миленькие, особенно Голубева...

— Попрошу обстоятельнее,— сказала завуч.

— Ничего не знаю,— сокрушенно вздохнула Галина Валентиновна.— Володя вообще ничего не хочет говорить, а она только называет его дураком и пытается плакать. Так я толком ничего и не добилась.

— Голубева исправила двойку по алгебре,— все так же хмуро сказала математик.

— А Касьянов, между прочим, уже почти не балуется на уроках,— заметила учительница физики.

— Вот видите,— торжествуя, но осторожно тряхнула головой завуч в модном парике.— Все-таки, что ни говорите, любовь у нынешних пятнадцатилетних, хоть еще и незрелое чувство, но если умело направлено...

— Акселераты! — глубокомысленно изрек физрук.

г. НОВОКУЗНЕЦК

РЯБИНА

Слова ВАЛЕНТИНА МАХАЛОВА
Музыка ГЕОРГИЯ ГРИГОРЕНКО

Нетопорно

tr

1. ВЕЧЕР СИНИЙ - СИ-НИЙ, СЕРЕБРИТСЯ И-НЕЙ О-ДИ-НО-КО

tr

О-ДИ-НО-КО СТЫ-НЕТ, СТЫНЕТ НА ВЕТРУ РЯ-

припев

-БИ-НА О-НА ПОД ОК-НАМИ РАЗ-

mf

БРОСИ-ЛА КИСТЕЙ ГУСТЕЮЩУ-Ю КРОВЬ, К НЕЙ КРАСО-

ТА ПРИХОДИТ О-СЕНЬ-Ю, КАК К ЛЮДЯМ ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ, К НЕЙ КРАСО-БОВЬ

окончание

БОВЬ, К НЕЙ КРАСО-БОВЬ

Вечер синий-синий,
Серебрится иней,
Одиноко, одиноко стынет
Стынет на ветру рябина.

Припев:

Она под окнами разбросила
Кистей густеющую кровь,
К ней красота приходит осенью,
Как к людям поздняя любовь.

У меня сегодня
Настроенье тоже
Очень почему-то, почему-то
Очень на твое похоже.

Припев:

А ты под окнами разбросила
Кистей густеющую кровь,
К тебе краса приходит осенью,
Как к людям поздняя любовь.

Не грусти, не надо,
Слушай, что скажу я —
В этот вечер, в этот вечер рядом
Рядом тополь посажу я.

Припев:

А ты под окнами разбросила
Кистей густеющую кровь,
К тебе краса приходит осенью,
Как к людям поздняя любовь.

